

ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

2 | 2022

JOURNAL OF FRONTIER STUDIES

Academic E-Journal

www.jfs.today
www.frontierstudies.com

Vol. 7, No 2

<https://doi.org/10.46539/jfs.v7i2>

Mental Borders and Memorial Frontier



ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный электронный журнал

www.jfs.today
www.frontierstudies.com

Том 7, No 2

<https://doi.org/10.46539/jfs.v7i2>

Ментальные границы и мемориальные фронтиры



Table of Content

INTRODUCTION

Sergey A. Troitskiy

It is Difficult to Remain a Scholar When The Human is Ground Into Mincemeat:
Mental Boundaries and Memorial Frontiers 15

MEMORIAL FRONTIER

Yulia V. Zevako

The Theme of “Descendants of the Executioners”
in the Discourse in Memory of the “Era of Political Repressions” (2010s – early 2020s) 26

Elena A. Popravko

The Stigmatisation of Family
in the Biography of the Soviet Leader (on the Example of Army General A. V. Khrulev) 47

MENTAL BOUNDARIES AND CULTURAL EXCLUSION

Lidia S. Zhirnova

Russia as a Significant Other
in Latvian Regional Museums: New Mental Borders and Cultural Exclusion 61

Irina N. Krutova, Dmitry M. Bychkov, Giulnara M. Bilialova & Olga N. Parshina

The Caspian Sea as Intertext: from the Old Russian
Literary Tradition to Modern Mass Media (Reception, Concepts, Emotions) 77

Elizaveta D. Zakuraeva

Exclusion in the City Space: the Italian Experience 89

Sergey A. Troitskiy & Alexey O. Tsarev

Topographic Hierarchy: an Interdisciplinary
Study of Mental Space in the Perspective of Topographic Preferences 114

MISCELLANEOUS

Lyubov A. Kholova

Images of the Soviet Era in the Perception
of the Student Youth of the Post-Soviet Caspian Region 146

CRITICS & REVIEWS

Konstantin I. Zubkov, Igor V. Poberezhnikov & Georgy N. Shumkin

Imperial Power and The Policy of Transformation of the Outlying Lands
(Review: Khodyakov, M. V. (Ed.), (2021). *Center and Regions:
Economic Policy of the Government on the Outlying Lands of
the Russian Empire (1894–1917)*. Publishing House of St. Petersburg University) 165

Alexey V. Belov

Features of the Religious and Everyday Worldview of a Resident of
a Russian City at the Turn of the Middle Ages and Modernity: Public, Everyday, Intimate 176

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Троицкий С. А.

Сложно оставаться ученым, когда человеческое перемалывается в фарш:
ментальные границы и мемориальные фронтиры 15

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ФРОНТИР

Зевако Ю. В.

Тема «потомков палачей» в дискурсе памяти
об эпохе политических репрессий (2010-х – начало 2020-х гг.) 26

Поправко Е. А.

Семья как стигма в биографии советского руководителя
(на примере генерала армии А. В. Хрулёва) 47

МЕНТАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ И КУЛЬТУРНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ

Жирнова Л. С.

Россия как значимый Другой в латвийских региональных
музеях: новые ментальные границы и культурное отчуждение 61

Крутова И. Н., Бычков Д. М., Билялова Г. М., Паршина О. Н.

Каспий как интертекст: от древнерусской литературной
традиции к современным массмедиа (рецепция, концепты, эмоции) 77

Закураева Е. Д.

Отчуждение в пространстве города: итальянский опыт 89

Троицкий С. А., Царев А. О.

Топографическая иерархия: междисциплинарное исследование
ментального пространства в перспективе топографических предпочтений 114

РАЗНОЕ

Холова Л. А.

Образы советской эпохи в восприятии студенческой молодежи Прикаспия 146

РЕЦЕНЗИИ

Зубков К. И., Побережников И. В., Шумкин Г. Н.

Имперская власть и политика преобразования окраин
(рецензия на книгу: Ходяков, М. В. (Ред.), (2021). *Центр и регионы:
экономическая политика правительства на окраинах Российской империи*
(1894–1917). Издательство Санкт-Петербургского университета) 165

Белов А. В.

Особенности религиозно-бытового мировоззрения жителя русского города
на рубеже Средневековья и Нового времени: публичное, повседневное, сокровенное 176

Dear friends, colleagues, readers and authors!

Journal of Frontier Studies is a periodic academic e-journal without printed forms (since 2016). The journal publishes scholarly articles, reviews, information resources, expeditions' reports, conferences and other scientific materials.

The journal was included in the top list of peer-reviewed scientific publications, which should publish the main scientific results of dissertations for the degree of candidate of science, for the degree of doctor of science in the following specialties:

07.00.02 – Russian history;

07.00.03 – General history;

24.00.01 – Theory and history of culture (history, philosophy, cultural studies);

07.00.07 – Ethnography, Ethnology, and Anthropology;

10.01.03 – Foreign Literature.

We publish four issues in a year.

The working languages of the Journal are English and Russian.

The Journal is devoted to topical issues in the field of Frontier theory, Borders and Borderlands, problems of intercultural communication in contact zones, as well as the questions of functioning of Frontier tropes in modern mass culture.

Aim and Scope

Our goal is to create a virtual platform for exchange of views and discussions in the field of Frontier studies. With this goal in mind, we aim to ensure that our online publication performs important scientific functions – communication and information – that will not only accumulate new developments in this field, but will also serve as a basis for new discoveries and insights.

The Journal advocates the principles of dialogue of cultures and elimination of conditions for possible conflicts of civilizations. It adheres to the principles of the philosophy of non-violence, cultural and religious tolerance. The editorial staff aims to remove language barriers and respect the boundaries of the national culture of each nation living on our small planet – Earth.

The journal assigns Crossref DOIs to all articles.

The main branches of science within which materials can be published in this publication are:

History;

Theory and history of culture;

Philosophy;

Literature.

But this does not mean at all that articles and other materials of the authors written in other branches of knowledge will be categorically rejected. We welcome articles on Frontier problems written from the perspective of a wide variety of Sciences or at the intersection of several branches, since this approach, in our opinion, may be the most effective and allows us to look at known problems from a new point of view. All materials submitted to the editors will be carefully selected and sent for double-blind reviews.

Any unscientific or not based on facts article will be rejected by the editors. We do not accept works that Express disrespect for other peoples or contain politically incorrect language.

All articles are published FREE, but the fee is not paid to the authors.

**Best regards,
Editors**

- ◆ Certificate of registration issued by Roskomnadzor: Эл № ФС77-61330 from March 7, 2015
- ◆ ISSN: 2500-0225
- ◆ The material published in the journal is intended for persons over 18 years of age

Уважаемые друзья, коллеги, читатели и авторы!

Сетевое издание Журнал фронтирных исследований (Journal of Frontier Studies) является периодическим научным изданием, не имеющим печатной формы, и выпускается с 2016 года. В сетевом издании публикуются научные статьи, рецензии, информационные ресурсы, отчеты об экспедициях, конференциях и прочие научные материалы.

Сетевое издание включено в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим специальностям:

07.00.02 – Отечественная история (исторические науки);

07.00.03 – Всеобщая история (исторические науки);

24.00.01 – Теория и история культуры (исторические науки) (философские науки) (культурология);

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (исторические науки);

10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) (филологические науки).

Мы выходим ежеквартально 4 раза в год.

Рабочими языками сетевого издания являются русский и английский

Сетевое издание посвящено актуальным вопросам в сфере исследований фронтальной теории, пограничья и приграничья, проблем межкультурной коммуникации в контактных зонах, а также вопросам функционирования фронтальных тропов в современной массовой культуре.

Цель проекта: Создание виртуальной площадки для обмена мнениями и дискуссий в области фронтальной теории.

Исходя из цели, мы стремимся к тому, чтобы наше сетевое издание выполняло важные научные функции – коммуникативную и информационную, которые позволят не только аккумулировать новые достижения в этой области, но и послужат основой для новых открытий и озарений.

Сетевое издание выступает с позиций принципов диалога культур и устранение условий для конфликта цивилизаций. Оно придерживается принципов философии ненасилия, культурной и религиозной толерантности. Редакция преследует цель устранения языковых барьеров и уважительного отношения к границам национальной культуры каждого народа, проживающего на маленькой планете Земля.

Основные отрасли наук, в рамках которых могут быть опубликованы материалы в данном издании, это:

07.00.00 – Исторические науки;

24.00.00 – Теория и история культуры.

09.00.00 – Философские науки;

10.01.00 – Литературоведение.

Но это совсем не означает, что статьи и иные материалы авторов, написанные в других отраслях науки, будут категорически отвергнуты. Мы приветствуем статьи по проблемам фронта, написанные с позиции самых разнообразных наук или на стыке нескольких наук, так как такой подход, по нашему мнению, может оказаться наиболее действенным и позволяющим взглянуть на известные проблемы под новым углом.

Все материалы, поступающие в редакцию, проходят тщательный отбор и отправляются на двойное слепое рецензирование. Поэтому любая антинаучная и не подкрепленная фактологически статья будет отклонена редакторами. Мы не публикуем работы, в которых высказывается неуважительное отношение к другим народам или имеются некорректные формулировки.

**С уважением,
редакция**

- ◆ Государственная регистрация в Роскомнадзоре: Свидетельство о регистрации СМИ (электронная версия): Эл № ФС77-61330 от 07 апреля 2015 г.
- ◆ ISSN: 2500-0225
- ◆ Опубликованные в журнале материалы предназначены для лиц старше 18 лет

Editorial Team

Editor-in-Chief	Serguey N. Yakushenkov Dr. Habilitatus in History, Professor, Astrakhan State University. Astrakhan, Russia
Associate Editors	Rastyam T. Aliev, Ph.D. Astrakhan State University. Astrakhan, Russia
Science Editor	Maksim V. Kirchanoff Dr. Habilitatus in History, Associate Professor, Voronezh State University. Voronezh, Russia
Editorial Board	Andrei Znamenski Ph.D., professor, The University of Memphis. Memphis, USA Andrey V. Grinev Dr. Habilitatus in History, Professor, St. Petersburg State Polytechnic University of Peter the Great (SPbPU). St. Petersburg, Russia Anna P. Romanova Dr. Habilitatus in Philosophy, Professor, Astrakhan State University. Astrakhan, Russia Dittmar Schorkowitz Ph.D., professor, Max Planck Institute for Social Anthropology. Halle, Germany Elena E. Zavyalova Dr. Habilitatus in Philology, Astrakhan State University. Astrakhan, Russia Elena V. Morozova Dr. Habilitatus in Philosophy, Professor, Kuban State University. Krasnodar, Russia Elina A. Sarakava Ph.D., Hainan College of Economics and Business. Haikou, China Emilia A. Taysina Dr. Habilitatus in Philosophy, Professor, Kazan State Power Engineering University. Kazan, Russia Isabeau Vollhardt B.A., Philosophy/English University of Washington. Washington, USA Lyudmila V. Burykina Ph.D., Adygea State University. Maykop, Russia Maria M. Fyodorova Dr. Habilitatus in Political Studies, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

Marina Ch. Larionova

Dr. Habilitatus in Philology, Federal State Budgetary Institution of Science "Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences", Southern Federal University.
Rostov-on-Don, Russia

Matthew P. Romaniello

Ph.D., professor, Weber State University. Ogden, USA

Michael Khodarkovsky

Ph.D., professor, Loyola University Chicago. Chicago, USA

Nadezhda Ye. Tropkina

Dr. Habilitatus in Philology, Volgograd State Pedagogical University.
Volgograd, Russia

Natalia S. Kanateva

PhD, Associate Professor, Astrakhan State University. Astrakhan, Russia

Nathan Hopson

Ph.D., professor, Nagoya University. Nagoya, Japan

Piotr Gorecki

Ph.D., professor, University of California. Riverside, USA

Robert P. Geraci

Ph.D., professor, University of Virginia. Charlottesville, USA

Sergey A. Troitskiy

PhD., Herzen Russian State Pedagogical University, Research Center for Cultural Exclusion and Frontier Zones, Sociological Institute, RAS.
St. Petersburg, Russia

Serguey V. Vinogradov

Dr. Habilitatus in History, Professor, Astrakhan State University. Astrakhan, Russia

Willard Sunderland

Ph.D., professor, University of Cincinnati. Cincinnati, USA

Главный редактор	Сергей Николаевич Якушенков д. ист. н., профессор, Астраханский государственный университет, Россия
Заместитель главного редактора	Растям Туктарович Алиев к. ист. н., Астраханский государственный университет, Россия
Научный редактор	Максим Валерьевич Кирчанов д.ист.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Воронеж, Россия
Редакционная коллегия	Андрей Вальтерович Гринев д.ист.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). Санкт-Петербург, Россия Андрей Знаменский Ph.D., профессор, Университет Мемфиса. Мемфис, США Анна Петровна Романова д.филос.н., профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». Астрахань, Россия Диттмар Шорковиц Ph.D., профессор, Институт социальной антропологии им. Макса Планка. Галле, Германия Елена Васильевна Морозова д.филос.н., профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». Краснодар, Россия Елена Евгеньевна Завьялова д.филол.н., ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». Астрахань, Россия Ибитайо Самюэль Попула PhD, профессор, Лагосский университет, Нигерия Изабо Волхардт В.А., Вашингтонский университет. Вашингтон, США Людмила Васильевна Бурькина к.ист.н., ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». Майкоп, Россия Марина Ченгаровна Ларионова д.филол.н., ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук» (ЮНЦ РАН), Южный федеральный университет (ЮФУ). Ростов-на-Дону, Россия Мария Михайловна Федорова д.полит.н., Институт философии РАН. Москва, Россия Михаил Ходарковский Ph.D., профессор, Университет Лойолы в Чикаго. Чикаго, США

Мэтью П. Романьелло

Ph.D., профессор, Государственный университет Уэбер. Огден, США

Надежда Евгеньевна Тропкина

д.филол.н., ФГБОУ ВО Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Волгоград, Россия

Наталья Сергеевна Канатьева

к.биол.н., доцент, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». Астрахань, Россия

Натан Хопсон

Ph.D., профессор, Нагойский университет. Нагойя, Япония

Пётр Горецкий

Ph.D., профессор, Калифорнийский университет. Риверсайд, США

Роберт П. Гераси

Ph.D., профессор, Университет Виргинии. Шарлотсвилль, США

Сергей Александрович Троицкий

к.филос.н., РГПУ им. А.И. Герцена, Центр изучения зон культурного отчуждения и пограничья Социологического института РАН-Филиала ФНИСЦ РАН, РАН. Санкт-Петербург, Россия

Сергей Вадимович Виноградов

д.ист.н., профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». Астрахань, Россия

Уиллард Сандерленд

Ph.D., профессор, Университет Цинциннати. Цинциннати, США

Элина Алиевна Саракаева

к.филол.н., Хайнаньский профессиональный колледж экономики и бизнеса Хайкоу. Хайкоу, Китай

Эмилия Анваровна Тайсина

д.филол.н., профессор, ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет». Казань, Россия

CONTACTS

Founder	Limited Liability Company Scientific Industrial Enterprise “Genesis. Frontier. Science”
Address	85, Geologov St. apt. 2, Astrakhan, Russia, 414050
Editor-in-Chief	Serguey N. Yakushenkov
Email	editorialboard.jsf@jfs.today ; editorialboard.jsf@gmail.com
CEO	Rastyam T. Aliev
Email	rastaliev@gmail.com

The opinion of the editorial board
may not coincide with the opinion of the authors

КОНТАКТЫ

Учредитель	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Генезис.Фронтир.Наука»
Адрес редакции	414050, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Геологов, д. 85, кв.2
Главный редактор	Сергей Николаевич Якушенков
Email	editorialboard.jsf@jfs.today ; editorialboard.jsf@gmail.com
Дирекция журнала	Алиев Растям Туктарович
Email	rastaliev@gmail.com

Мнение редколлегии журнала
может не совпадать с мнением авторов

It is Difficult to Remain a Scholar When The Human is Ground Into Mincemeat: Mental Boundaries and Memorial Frontiers

Sergey A. Troitskiy

Estonian Literary Museum. Tartu, Estonia. Email: sergei.troitskii@folklore.ee

Abstract

The article opens a special issue of the Journal of Frontier Studies “Mental Boundaries and Memorial Frontiers”. The text raises topical issues of the nowadays cultural and historical situation, although the author is sure that it is not unique, therefore he gives it the universal name “historical catastrophe”. The subject, forced to exist in the conditions of a historical catastrophe, is in a radicalized situation of choice. The radicality of the choice makes it impossible to reach consensus between alternative options, which act not as ready-made clear models, but as radically opposed propositions to each other. The choice of one of them determines the further strategies and trajectories of the subject, the characteristics that are attributed to him by other subjects as essential. Despite the radical nature of the opposition, the boundaries between them are not defined, and pass within the subject itself, since different sides of the manifestation of the subject in an ordinary situation can combine simultaneous manifestations of both of them, and in an ordinary situation they are not opposed.

Keywords

Moral Frontier; Memorial Frontier; Transgenerational Frontier; Cultural Exclusion Zones; Mental Maps; Mental Boundaries; Stigmatization; Place; Identity; Space



This work is licensed under a [Creative Commons “Attribution” 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Сложно оставаться ученым, когда человеческое перемалывается в фарш: ментальные границы и мемориальные фронтиры

Троицкий Сергей Александрович

Эстонский литературный музей. Тарту, Эстония. Email: sergei.troitskii@folklore.ee

Аннотация

Статья открывает специальный номер Журнала Фронтирных Исследований «Ментальные границы и мемориальные границы». В тексте поднимаются актуальные проблемы современной культурной и исторической ситуации, хотя автор уверен, что она не уникальна, поэтому дает ей универсальное название «историческая катастрофа». Субъект, вынужденный существовать в условиях исторической катастрофы, находится в радикализированной ситуации выбора. Радикальность выбора делает невозможным консенсус между альтернативными вариантами, которые выступают не как готовые ясные модели, а как радикально противопоставленные друг другу пропозиции. Выбор одной из них определяет дальнейшие стратегии и траектории субъекта, характеристики, которые ему приписываются другими субъектами в качестве сущностных. Несмотря на радикальность противопоставления, границы между ними не определены, и проходят внутри самого субъекта, поскольку различные стороны проявления субъекта в обычной ситуации могут совмещать в себе одновременные проявления обеих из них, и в обычной ситуации не противопоставляются.

Ключевые слова

нравственный фронтир; мемориальный фронтир; трансгенерациональный фронтир; зоны культурного отчуждения; ментальные карты; ментальные границы; стигматизация; место; идентичность; пространство



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons “Attribution” \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Экономика морали в условиях исторической катастрофы

Сложно оставаться ученым, когда человеческое перемалывается в фарш. Это первые слова, с которых я должен начать не только вступительную статью, но и весь этот специальный выпуск Журнала фронтирных исследований, несмотря на сложившийся в российской науке этикет академического письма, распределяющий ответственность за текст и мысли между абстрактным множественным субъектом «Мы». В ситуации смертельной опасности и фатальной неопределенности, «Я» вынуждено остаться со своим «Я» наедине, принимая за него полную страшную ответственность. В этом случае каждый оказывается наедине с собой и вынужден выбирать, принимать ли ответственность сразу во всей полноте и тогда оставаться собой, отказываясь от фантомного присутствия множественного субъекта как одной из форм идентичности, либо «вписываться» в моральный кредит, получая отсрочку платежа по своей ответственности, и тогда фантомный множественный субъект позволяет забыть о собственных муках, но становится единственной формой воплощения субъекта.

Конечно, множественный субъект охраняет своим ошетинившимся множеством лиц зону комфорта этих самых включенных в него лиц, но от их присутствия теперь никуда не деться. И отложенная ответственность оказывается не только собственной, но и множественной. Платить по моральным кредитам придется и за себя, «и за того парня», за все всех лиц, включенных в состав этого множественного субъекта. У всех, принимающих условия существования внутри множественного субъекта, и моральный счет общий, никакого паевого участия (паевое участие возможно только если все субъекты свободны и могут отвечать по своим долгам) вся ответственность только целиком! И она лежит на каждом! Неразборчивость в средствах экономии, незнание экономических законов, непонимание их тотальности приводит к самым большим социальным и гуманитарным антропогенным катастрофам, включая революции, войны и т.п. Стремление получить быстрый профит в одном приводит к дефициту в другом, а, как следствие, к долгу (отложенной расплате) перед будущим для покрытия дефицита. Множественный субъект защищен от распада, потому что включение в множество есть добровольный выбор, акт отказа от собственной индивидуальности и воли.

По мысли Чаадаева, отказ от собственной воли позволяет коллективному человеку соединиться с божеством, раствориться в нем. Это одно из самых частых «философских» оправданий множественного субъекта. Однако, по Чаадаеву, соединение с божеством должно сопровождаться не только отказом от собственной воли, но и приобщением к божественной мудрости, а самое главное, что этот отказ обязан быть не в пользу смертного, а в пользу божества. Именно эта, главная, ошибка и делает возможными тоталитарные режимы, где множественный субъект готов идти за вождем на самые бого-



мерзкие поступки, оправдывая себя и усыпляя совесть своей причастностью ко множеству. «Но горе тому, – предупреждал Чаадаев, – кто принял бы иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего разума за необычайное озарение, освобождающее от общего закона» (Чаадаев, 1991, с. 322).

Расплата по моральному кредиту, который взят множественным субъектом в этом случае приходит не сразу, но она приходит к каждому, кто отказался от собственной воли в пользу множества. Расплата происходит с каждым индивидуально, оставляя субъекта в одиночестве, наедине с собой, вынуждая принимать ту реальность и те долги, которые так удобно было не замечать, прячась внутри множества. И тогда тот экзистенциальный выбор, который стоит перед субъектом в критических исторических условиях возвращается снова, но теперь выбора нет. Множественный субъект с самого начала обречен на провал, на отложенное фиаско, но именно фиаско. И в этом смысле принятие экзистенциальной ответственности сразу не является отказом от нее насовсем, более того, и выбора-то как такового у субъекта нет, он может выбрать только способ и время расплаты: сразу и только по своим счетам или с отсрочкой, с процентами и по полному счету за всего множественного субъекта.

Нравственный фронтир

Сложно оставаться ученым, когда человеческое перемалывается в фарш. Разделение субъекта, на которое указывает это предложение, является характерным для ситуации исторической катастрофы. Существующие органично в одном субъекте разные стороны, разные идентичности, разные «лица», разные сущности, вдруг оказываются оторваны друг от друга. Между ними оказывается фронтир как пространство подвижных рубежей.

Нравственный субъект и политический субъект сохраняют свое единство до тех пор, пока внешние обстоятельства позволяют нормам совпадать, либо существует внутренняя конвенция, согласно которой один подчинен другому. Однако в ситуации исторической катастрофы перед каждым стоит выбор сохранять доминирование нравственного начала как универсальной нормативной системы, исходящей из интересов человечества, или отказаться от универсального нравственного начала и подчиниться локальным нормам. Локальные (политические) нормы построены на доминировании интересов государства или социальной группы и оправдывают нарушение нравственных норм в соответствии с политическими условиями, сиюминутными целями. В этом случае соответствие ожиданиям доминирующей группы или доминирующего субъекта оправдывает даже нарушение нравственных норм. В критической ситуации каждый выбирает сам, готов ли он уничтожить весь мир ради одного человека (группы) или готов пожертвовать его интересами для сохранения человеческого в целом. Далеко не всегда этот выбор радикализирован

именно таким образом, но в условиях исторических катастроф граница между этими вариантами существует явно. При этом граница, поскольку она проходит между внутренними субъектами, выступает, скорее, не как четкая линия между дозволенным и недозволенным, как это бывает в обычное время, а проявляет себя как нравственный фронт, территория ни-того-ни-другого. В этом нравственном фронте любой шаг может оказаться точкой невозврата к состоянию нравственной личности, поскольку прагматика социальных отношений предполагает не только этическое измерение, а социальная онтология предполагает фиксацию субъекта и его намерений (Ferraris, 2011). Особенно это заметно, если социальная группа или государство, к которой принадлежит субъект становится источником исторической катастрофы.¹

В этих условиях отменяется множественность перспектив. Фронт между прошлым и будущим проходит здесь и сейчас. Субъект вынужден выбрать, что легитимирует его субъектность, память (индивидуальная или культурная), с помощью различных процедур ретроспекции конструирующая прошлое в виде золотого века, идеального состояния, и как следствие, конструирующая ретропию (Bauman, 2017), или перспективное воображение², конструирующее будущее как совершенно новое со свойственным ему хаотическим и революционным прожектерством.

Политика меньшинств (minority policy) как форма социального консенсуса, являющаяся основополагающей для всего европейского самосознания с XVII века, в период исторической катастрофы фактически замораживается, поскольку дисбаланс прав и свобод (меньшинству дается больше, чем большинству) угрожает социальному равновесию (Deets, 2006; Krasner, 2001). Однако в случае отмены льгот меньшинств сами меньшинства оказываются под угрозой, а большинство рискует оказаться в ситуации, когда основными регуляторами становятся метанарративы. Когда это происходит, переход из меньшинства в большинство фактически невозможен, поскольку границы между ними затвердевают, а субъекты, относящиеся к тому и другому получают стабильную идентичность (Троицкий, 2021).

Ментальные границы

Сложно оставаться ученым, когда человеческое перемалывается в фарш. Экзистенциальный кризис как реакция на внешние факторы делает невозможным гармоничное сосуществование внутренних «лиц». Потеря мира вовне приводит к конфликту внутри. Линия фронта как горячая граница начинает проходить не только на плоскости земли, но и внутри, полностью меняя конфигурацию субъекта. Реальная линия фронта оказывается единственной

1 Эта проблема стала одной из центральных в немецкой художественной литературе (Э.М. Ремарк, Т. Манн, Г. Грасс и др).

2 «Проспекция» включает в себя понятие действия, которое должно совершиться в ближайшем будущем, и отражение представления о неизбежности наступающей ситуации» (Федорова, 2010, с. 82; Рянская 2002)



реальной границей, доминирующей линией раздела территории, поэтому все остальные границы оказываются для субъекта, вовлеченного в конфликт самым фактом рождения, проживания, принадлежности языку и культуре, становятся незначимыми. Включенность в глобальную среду делает человека транснациональным гораздо больше, чем он ощущал это до исторической катастрофы. Перекраивание границ территории меняет и ощущение пространства в целом. Историческая катастрофа отменяет все прочие характеристики субъекта, определяющие его принадлежность к пространству, вписывающие его в географические границы. И даже если повседневная жизнь человека непосредственно не связана с происходящим где-то относительно далеко, все равно приводит его к внутреннему разрыву. Границы, прежде устойчивые, совпадающие в целом с ментальными границами, превращаются в иллюзорные, неопределенные, не способные быть опорой для идентификации. Пространство, прежде имевшее свои чувственные воплощения на ментальной карте, благодаря собственному опыту субъекта, опыту освоения этого пространства, теряет свою фундаментальность из-за отмены всего прошлого опыта, на смену ему приходит новый опыт. Благодаря ему на ментальной карте субъекта появляются новые, прежде неизвестные ему, топосы. Значимость событий, произошедших в этих местах, превосходит все, что можно было принять, а чудовищность событий (военных преступлений), совершенных там, делает эти места незаживающей раной субъекта, культурной травмой, реализуемой часто как индивидуальная, не только в качестве ПТСР у непосредственных носителей травматического опыта (Krippner & Pitchford & Davies, 2012; Brillon, 2013), но и в качестве эмпатически обусловленных расстройств (Карягина & Придарчук, 2017). Новые, травматические, места на ментальной карте актуализируют механизмы памяти, усиливают постпамять о непереживаемом травматическом опыте. Травматический опыт обращает субъекта в прошлое и в будущее, заставляя находить основания для утверждения ментальной карты как незыблемой точки опоры. Прежде незначимые и случайные события находят свое место в ментальном переживании истории места, как безусловные, как отражение уже сложившихся в прошлом тенденций, как подтверждение сущностных характеристик. Эти перспективы являются направлениями конструирования места для субъекта, задают многомерность этого конструкта. Вместе с тем, такое соединение ментальных карт с ментальной историей задает жизненные стратегии и траектории, изучающиеся время-географией (Hägerstrand, 1986). Культурная память в условиях исторической катастрофы приходит в конфликт с ментальной историей и механизмами ментального картирования. Политические и социальные инструменты культурного отчуждения как инструменты конструирования культурной памяти создают основания для культурной географии, но могут не работать в ситуации построения индивидуальных представлений о пространстве. В этой ситуации стираются дисциплинарные границы между естественными и обще-

ственными науками, а ученые вынуждены учитывать самые разные факторы, как природные, так и культурные. Ученый в этом случае для построения наиболее корректного описания, как это ни парадоксально, вынужден обращаться не только к исследуемому материалу, но и к собственной памяти, не только к объективным данным, но и к субъективному опыту.

Архитектура номера

Сложно оставаться ученым, когда человеческое перемалывается в фарш, несмотря на это авторы, представившие статьи для специального номера Журнала Фронтирных исследований, демонстрируют свой высокий академический уровень и трезвый взгляд на предмет и объект исследования. Сами статьи по отдельности и весь номер целиком решают главную задачу – показать зависимость ментальных представлений о пространстве и границах на плоскости земли, с одной стороны, и практик расчерчивания этих границ, жизненных стратегий как формы существования «на Земле», с другой. Исходя из этой задачи, все статьи номера, входящие в основной блок текстов, разделены на две рубрики, названные условно «Мемориальный фронт» и «Ментальные границы и культурное отчуждение».

Первая рубрика включает в себя исследования аспектов культурной памяти, задающих социальные и культурные границы, символические пределы, мемориальные фронты (Аникин, 2020).

В центре внимания исследования Юлии Зевако лежат трансгенерационные границы между непосредственными участниками государственного террора, как частный разбираемый случай, непосредственными исполнителями и их потомками. Зона умолчания вокруг опыта палача, реализованного в период исторической катастрофы, зоны культурного отчуждения, в которую была вытеснена сама катастрофа сделали совершенно дискурсивно закрытым образ палача, что мешает обществу потомков каким-либо образом принять случившееся в целом как факт, пусть страшный, но факт истории, делая тем самым повторение этого непризнанного опыта, непризнанной ответственности, вполне возможным. Риторика сопротивления прошлому как способ неприятия распространена в обществе, не готовом платить по историческим нравственным кредитам. Отсутствие дискурсивных практик принятия делает невозможной нарратив семейной истории и другие микронарративы, а значит, мешает обществу в целом двигаться дальше. *Skeletons in the cupboard* (Скелеты в шкафу) определяют как отношение к обществу как извне, так и внутри него, мертвые управляют живыми, конструируя прошлое, настоящее и будущее, а также моделируя соответствующие жизненные стратегии и траектории (время и пространство) (Hägerstrand, 1986). Зоны культурного отчуждения являются основой для взаимного недоверия членов общества друг к другу, фиксирует ситуативные функции (палач, жертва) в качестве сущностных харак-



теристик, единственной возможной идентичности, что позволяет переносить ее на потомков, делая их объектом постоянного подозрения. Таким образом, оказывается, что зона культурного отчуждения, зона умолчания формирует мемориальный фронтир, в котором сходится множество возможностей для реализации, но каждая из них не может быть полностью реализована.

Другой поворот этой же проблеме задает в своей статье Елена Поправко. Исследование построено на архивных документах, впервые вводимых в научный оборот. Автор подробно разбирает, как политика в период исторической катастрофы определяла изменение семейной истории, как работали механизмы формирования стабильной идентичности и фиксации образа настоящего коммуниста в Советском Союзе 1930-х гг. Такая фиксация (стигматизация) обеспечивала членам советского общества карьерный рост, но исключала возможность проявления каких-либо качеств, кроме тех, что соответствовали функциональным характеристикам. Именно функциональные характеристики оказывались единственным способом идентификации субъекта.

Вторая рубрика основной части номера получила свое название, благодаря удачно сформулированному подзаголовку статьи Лидии Жирновой. Автор исследует различные стратегии ментального картирования в экспозиционной работе латвийских региональных краеведческих музеев. Помещение советского прошлого как национального опыта в зону культурного отчуждения не позволяет обществу признать это прошлое и сделать его фактом истории. Советское прошлое, как уже упоминавшийся скелет в шкафу, все время напоминает о себе, формируя различные фиксированные (стигматизированные) нарративы, свидетельствующие о непризнании. Стигматизированный образ Советского Союза, распространяемый на современную Россию, оказывается важным для установления мемориальных фронтиров и построения ментальных карт. Автор выделяет, по меньшей мере, три стратегии работы с советским прошлым в исторических музеях: отсутствие нарратива, маргинализация советской тематики и попытка выстроить преимущественно обвинительный нарратив.

Группа авторов из Астрахани и Москвы обращаются к проблеме формирования географического концепта Каспийского моря в различных медиа от классических литературных источников до современных массмедиа. Авторы интересуются, как ментальные карты, личный опыт освоения пространства находят отражение в «большой» географии. Исследования пространства оборачиваются исследованием образа пространства, механизмов формирования Мест в терминологии Оже (2017) через «собираение» личных представлений, частных характеристик топоса. Широкий обзор источников, данный в статье, позволяет проследить трансформацию этих характеристик, а также увидеть, как топос (Место) постепенно распространяет собственные характеристики на всю прилежащую территорию, меняя ее образ и, как следствие, различные повседневные практики, связанные с ней.

Статья Елизаветы Закураевой посвящена механизмам культурного отчуждения в крупных городах Италии. Причем, фокус исследования носит ретроспективный характер. Автор рассматривает историю городов Аппенинского полуострова как историю формирования различных зон (культурного) отчуждения, делая вывод, что «история городской культуры фиксирует присутствие отчуждения, характерного для обитания индивида в городском пространстве с самого момента появления города и соответствующей субъектоцентричной городской культуры, существование в которой разворачивается в пространстве подчинения, преодоления границ или сопротивления рождаемому ей социальному порядку». Процесс (само)идентификации горожанина напрямую зависит, по мнению исследовательницы, с формируемыми зонами отчуждения, но и наоборот, эти зоны отчуждения являются следствием идентичности и самоидентификации различных социальных групп и отдельных людей.

Последняя статья рубрики продолжает проблематику городских исследований, но предлагает взглянуть на ментальное картирование как на способ фиксации индивидуальных культурных стереотипов и установок. В результате сложившихся образов и идентичностей Места, оно входит в ментальную карту со своим набором характеристик, но вместе с тем фиксируется в ней как источник притяжения или отторжения при выборе направления миграции. Этот феномен авторы назвали топографической иерархией (системой топографических предпочтений). В статье также рассматриваются различные факторы, определяющие топографическую иерархию. Статья написана в жанре препроекта, что позволяет высказывать рабочие гипотезы для дальнейшего обсуждения и проверки.

К основному блоку примыкают также две рецензии на недавние академические издания.

Список литературы

- Bauman, Z. (2017). *Retrotopia*. Wiley.
- Brillon, P. (2013). *Comment aider les victimes souffrant de stress post-traumatique: Guide à l'intention des thérapeutes* [How to help victims of post-traumatic stress: A guide for therapists]. Les Éditions Québec-livres. (In French).
- Deets, S. (2006). Pulling Back from Neo-Medievalism: Thee Domestic and International Politics of the Hungarian Status Law. *Slavic Eurasian Studies*, 9, 17–36.
- Ferraris, M. (2011). Social Ontology and Documentality. In G. Sartor, P. Casanovas, M. Biasiotti, & M. Fernández-Barrera (Eds.), *Approaches to Legal Ontologies: Theories, Domains, Methodologies* (pp. 83–97). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0120-5_5
- Hägerstrand, T. (1986). Den geografiska traditionens kärnområde [The core area of the geographical tradition]. *Svensk Geografisk Årsbok*, 62, 38–43. (In Swedish).



- Krasner, S. D. (2001). Abiding Sovereignty. *International Political Science Review*, 22(3), 229–251.
<https://doi.org/10.1177/0192512101223002>
- Krippner, S., Pitchford, D. B., & Davies, J. A. (2012). *Post-Traumatic Stress Disorder (Biographies of Disease)*. Greenwood.
- Аникин, Д. А. (2020). Проблематика фронта в исследованиях культурной памяти. *Журнал Фронтирных Исследований*, 5(2), 12–25. <https://doi.org/10.46539/jfs.v5i2.201>
- Карягина, Т. Д., & Придачук, М. А. (2017). Эмпатически обусловленный дистресс и возможности его диагностики. *Консультативная психология и психотерапия*, 25(2), 8–38.
<https://doi.org/10.17759/cpp.2017250202>
- Оже, М. (2017). Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. Новое литературное обозрение.
- Рянская, Э. М. (2002). Проспекция как часть аспектуальности. *Филологические науки*, 4, 86–92.
- Троицкий, С. А. (2021). В поисках тотального порядка: Затвердевание границ и стабильная идентичность. *Журнал Фронтирных Исследований*, 6(1), 196–225.
<https://doi.org/10.46539/jfs.v6i1.279>
- Федорова, Р. В. (2010). Структура аспектуальной категории перспективности. *Вестник Нижневартковского государственного гуманитарного университета*, 3, 82–86.
- Чаадаев, А. Я. (1991). Философские письма (1829–1830). В *Полное собрание сочинений и избранные письма* (Т. 1, сс. 320–440). Наука.

References

- Anikin, D. A. (2020). Frontier Issues in Cultural Memory Research. *Journal of Frontier Studies*, 5(2), 12–25. <https://doi.org/10.46539/jfs.v5i2.201> (In Russian).
- Auger, M. (2017). *Non-Places. Introduction to the Anthropology of Hypermodernity*. New Literary Review. (In Russian).
- Bauman, Z. (2017). *Retrotopia*. Wiley.
- Brillon, P. (2013). *Comment aider les victimes souffrant de stress post-traumatique: Guide à l'intention des thérapeutes [How to help victims of post-traumatic stress: A guide for therapists]*. Les Éditions Québec-livres. (In French).
- Chaadaev, A. Y. (1991). Philosophical Letters (1829–1830). In *The Complete Works and Selected Letters* (Vol. 1, pp. 320–440). Nauka. (In Russian).
- Deets, S. (2006). Pulling Back from Neo-Medievalism: The Domestic and International Politics of the Hungarian Status Law. *Slavic Eurasian Studies*, 9, 17–36.
- Fedorova, R. V. (2010). The Structure of the Aspectual Category of Prospectivity. *Bulletin of Nizhnevartovsk State Humanitarian University*, 3, 82–86. (In Russian).
- Ferraris, M. (2011). Social Ontology and Documentality. In G. Sartor, P. Casanovas, M. Biasiotti, & M. Fernández-Barrera (Eds.), *Approaches to Legal Ontologies: Theories, Domains, Methodologies* (pp. 83–97). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0120-5_5
- Hägerstrand, T. (1986). Den geografiska traditionens kärnområde [The core area of the geographical tradition]. *Svensk Geografisk Årsbok*, 62, 38–43. (In Swedish).

- Karyagina, T. D., & Pridachuk, M. A. (2017). Empathically Caused Distress and the Possibilities of its Diagnostics. *Counseling Psychology and Psychotherapy*, 25(2), 8–38.
<https://doi.org/10.17759/cpp.2017250202> (In Russian).
- Krasner, S. D. (2001). Abiding Sovereignty. *International Political Science Review*, 22(3), 229–251.
<https://doi.org/10.1177/0192512101223002>
- Krippner, S., Pitchford, D. B., & Davies, J. A. (2012). *Post-Traumatic Stress Disorder (Biographies of Disease)*. Greenwood.
- Ryanskaya, E. M. (2002). Prospectivity as part of aspectuality. *Philological Studies*, 4, 86–92. (In Russian).
- Troitskiy, S. A. (2021). In Search of Total Order: Solidifying Borders and a Stable Identity. *Journal of Frontier Studies*, 6(1), 196–225. <https://doi.org/10.46539/jfs.v6i1.279> (In Russian).



The Theme of “Descendants of the Executioners” in the Discourse in Memory of the “Era of Political Repressions” (2/2 2010s – early 2020s)

Yulia V. Zevako

Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Institute of History and Archaeology
Yekaterinburg, Russia. Email: [milirita\[at\]rambler.ru](mailto:milirita[at]rambler.ru)

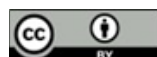
Abstract

The search and analysis of ways to overcome the “difficult” repressive past inherited from the 20th century by many countries including Russia, is one of the tasks of contemporary humanitarian thought. However, in the reflections of many researchers, very little attention is paid to the topic of “descendants of executioners”. In Russia, the topic of “descendants of executioners” is also quite marginal.

Nevertheless, a number of significant events took place in the public media space in the 2/2 of the 2010s – early 2020s. It started a more active discussion of this topic. Thus, general public learned about the project “Investigation of KARAGODIN”, about the database “Personnel of the USSR State Security Bodies. 1935–1939”, about a letter of repentance from the granddaughter of an NKVD officer involved in the case of great-grandfather D. Karagodin, at 2016, and about a lawsuit by a descendant of another NKVD officer demanding that the author of the project be brought to legal responsibility, at 2021. In addition, the lawsuit on the liquidation of “Memorial” caused a great resonance in the society at 2021. These events intensified discussions about the “descendants of the executioners” and their responsibility for the deeds of their ancestors. Here were manifested the positions of not only the “descendants of the victims”, but also the “descendants of the executioners” and representatives of the “double heritage” (simultaneous descendants of both), trying to find ways to comprehend the inherited “legacy”. The article is devoted to the analysis of the meanings and dynamics of these discussions.

Keywords

Memory Studies; Memory Discourse; “Descendants of Victims”; “Descendants of Executioners”; Memory of the Era of Political Repressions; “Difficult Memory”



This work is licensed under a [Creative Commons “Attribution” 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Тема «потомков палачей» в дискурсе памяти об эпохе политических репрессий (2/2 2010-х – начало 2020-х гг.)

Зевако Юлия Валерьевна

Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук
Екатеринбург, Россия. Email: [milirita\[at\]rambler.ru](mailto:milirita[at]rambler.ru)

Аннотация

Поиск и анализ путей преодоления «трудного» репрессивного прошлого, доставшегося многим странам, в том числе России, от XX века, является одной из задач современной гуманитарной мысли. Однако в размышлениях многих исследователей внимание теме «потомков палачей» уделяется совсем немного. В России тема «потомков палачей» также является скорее маргинальной.

Тем не менее, во 2/2 2010-х – нач. 2020-х гг. в российском публичном медиапространстве произошёл ряд значимых событий, которые стали импульсом к более активному обсуждению данной темы: в 2016 г. широкая общественность узнала о проекте «Расследование КАРАГО-ДИНА», была опубликована в открытом доступе в сети Интернет БД «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935–1939», большое внимание привлекло покаянное письмо внуки сотрудника НКВД, причастного к делу прадеда Д. Карагодина, а затем судебный иск потомка другого сотрудника НКВД с требованием привлечь автора проекта к юридической ответственности. Большой резонанс в обществе вызвал судебный процесс по ликвидации «Мемориала»*. Эти события активизировали дискуссии о «потомках палачей» и их ответственности за деяния предков, в которых проявились позиции не только «потомков жертв», но также «потомков палачей» и носителей «двойного наследия» (одновременно потомков тех и других), пытающихся найти способы осмыслить доставшееся «наследие». Анализу смыслов и динамики данных дискуссий посвящена статья.

Ключевые слова

memory studies; дискурс памяти; «потомки жертв»; «потомки палачей»; память об эпохе политических репрессий; «трудная память»



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons “Attribution” \(«Атрибуция»\) 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
[Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Введение

История XX века во всём мире полна трагических событий, связанных с уничтожением большого количества людей по самым разным признакам в результате репрессивной политики государств. Разрезанная такими болезненными линиями, память больших политических сообществ, изначально преданная забвению «ради общего мира», стала проявляться в социальных и политических кризисах, требовать своего проговаривания и манифестировать себя через разнообразные культурные практики. Правительства, озабоченные сохранением гражданского мира, общественные организации и активисты, стремящиеся преодолеть болезненные расколы, тянущиеся корнями в прошлое, во 2 половине XX в. стали инициировать создание особых практик переходного правосудия и специальной политики памяти для проработки «трудных страниц истории» (Эппле, 2021; Лёзина. 2021).

«Воспаление памяти» (Эппле. 2021, с. 29), «одержимость прошлым» в последние десятилетия захлестнула и Россию: кажется, уже проговоренная во времена Перестройки тема эпохи политических репрессий, которой, как выразился А. Шалаев, «в 90-е уже наелись» (Бондаренко, 2016), оказалась востребованной и актуальной в 2010-е у следующего поколения от репрессированных (отчасти 3-го и 4-го поколений, внуков и правнуков), не знакомых с дискуссиями 1990-х гг.¹ Примечательно также, что если в 1990-е гг. речь шла о восстановлении памяти и «возвращении имён» жертв репрессий, то с середины 2010-х гг. стали заметны инициативы «предъявления имён» «палачей» (БД «Кадровый состав...» 2016, Проект «Расследование...») – постановка вопроса «я хочу знать, что произошло на самом деле», характерная для представителей третьего и далее поколений (Эткинд, 2016, с. 13, 19).

Всё это говорит о том, что «последствия ГУЛАГа до сих пор не изжиты российским обществом» (Курилла, 2022, с. 183) и требуют новой «проработки» и проговаривания – уже поколениями потомков. Вероятно, именно в силу того, что в России не было проведено «комиссий правды и примирения» – потребность в правде и примирении в обществе существует, о чём свидетельствуют многочисленные низовые инициативы и мероприятия различных государственных и муниципальных культурных учреждений², а также результаты исследования «Путь к общей памяти» (Преодоление..., 2019).

1 Фильм Ю. Дудя (признан иноагентом) «Колыма – Родина нашего страха», вышедший в 2019 г., стал востребованным именно у молодёжи, «открыв» или переоткрыв для них эту тему (что видно по комментариям). На 12.01.2022 фильм посмотрели более 26 млн. раз, оставив (на текущий момент) более 188 тыс. комментариев.

2 Из самых известных – акции «Мемориала»: «Возвращение имён», «Последний адрес», «Топография террора» и соответствующие тематические экскурсии, создание БД репрессированных и БД сотрудников НКВД за 1936 – 1939 гг.; просветительская и экскурсионная деятельность Государственного Музея истории ГУЛАГа в Москве, создание под его эгидой Ассоциации «Музеев памяти», объединившей музейных активистов со всей страны; проекты Д. Карагодина и И. Яковлева и многое др.

Преодоление «трудного прошлого», «симметрия памяти» и «травма осознания»

Преодоление «трудного прошлого» известная исследовательница памяти А. Ассман видит в достижении «симметрии памяти» жертв и палачей, а в условиях временной дистанции от «травмирующих» событий – «потомков жертв» и «потомков палачей» (что существенно смещает акценты). Ситуация, когда «разделяющие воспоминания оставляют память о страданиях самим группам пострадавших, в то время как потомки преступников продлевают то забвение, к которому стремились их предки», приводит к тому, что «продолжает сохраняться изначальная убийственная асимметрия» (Ассман, 2014, с. 295). Симметрия в данном случае мыслится как предоставление голоса обеим сторонам: жертвам и их потомкам – как бы ни было это неприятно слышать преступникам и их наследникам; «потомкам палачей» – как бы ни было им трудно осознавать и переживать преступления предков, тяжело осмысливать кровное родство с ними. «Лишь сопереживание и признание чужой памяти о страдании могут преодолеть это фатальное размежевание, создавая общую и обязательную для всех коммеморацию» (с. 295), «совместное воспоминание» (с. 114) – подчёркивает А. Ассман.

Появление инициатив, связанных с озвучиванием имён «палачей» и, тем самым, словно обращающихся к их потомкам, в некоторой степени стало поводом к поиску, «нащупыванию» языка для создания будущей общей коммеморации, первыми шагами в этом направлении.

Исследуя опыт разных стран, в том числе пример «травмы Холокоста», А. Ассман размышляет о сущности и логике подобных коммемораций: «Способны ли... те, кто не был очевидцем, то есть потомки жертв [можно добавить – и «потомки палачей», и «потомки доносчиков» и т.д. – прим. авт.], представить себе столь массовое истребление людей? Может ли состояться процесс психологической идентификации, когнитивного и эмоционального обращения к травматическому событию, чтобы сделать его частью культурной памяти?» Эти вопросы становятся всё более актуальными потому, что, как констатирует исследовательница, «акцент сместился от нарратива к рецепции» (с. 258), так как непосредственные участники событий, «очевидцы», естественным образом уходят в мир иной. Соответственно, передающиеся внутри семьи и/или собранные исследователями «нарративы» в качестве «отчуждённой памяти» требуют перевоплощения, обретения новых форм, чтобы выйти за пределы «фамилиальной постпамяти», вовлекая в «сохранение истории» всё большее количество людей и утверждаясь в качестве «ассоциативной постпамяти» (Хирш, 2016) (термин М. Хирш, стыкующийся с «культурной памятью» А. Ассман).

М. Хирш полагает, что способы «вовлечения», то есть осуществления «процесса когнитивного и эмоционального обращения к травматическому



событию», связаны с «перевоплощением памяти повторно через другие институты» (Там же). Эффект «психологической идентификации» при работе с «трудной» памятью, согласно В. Дорман, «возникает не изнутри и не вблизи, а снаружи и на расстоянии, и ее [память] необходимо не столько хранить и оберегать, сколько провоцировать, организовывать и собственно формировать» (Дорман, 2010, с. 331). В этих условиях становятся очевидными «проблемы репрезентации и связанных с ними эстетических и этических решений» (Ассман, с. 258): «провоцирование», «вовлечение», поиск способов глубокой «рецепции» травматического опыта предков кажется возможным только через практики «ретравматизации» потомков, которых побуждают включиться в переживание «процесса травмы» (Трубицына, 2005). Как подчёркивает Л.В. Трубицына, событие может «переживаться определённым образом как травматичное» и в «отсроченном» режиме – через последующее понимание, оценку и воображение – то есть как «травма осознания» (с. 13).

Суммируя, можно сказать, что практики памяти о «трудном прошлом», нацеленные на формирование постпамяти за пределами семьи и межпоколенной устной передачи от бабушек к внукам, основаны на искусственном конструировании условий и ситуаций – среды – для «провоцирования» «травмы осознания», стимулируя эмоциональную сферу через воображение, а когнитивную – через оценку и понимание.

Соответственно, попытка выстроить «совместное воспоминание» «потомков жертв» и «потомков палачей» должна включать взаимное «сопереживание и признание чужой памяти», поскольку «потомки палачей» нередко вдруг сталкиваются с таким родством, получая, вероятно, не меньшую «травму осознания», чем потомки жертв, знакомясь с историями и документами о своих предках.

Дискуссии о «потомках палачей»: 2016 год

Со второй половины 2010-х гг. в России активизировался дискурс о «потомках палачей», обрастая собственной логикой, содержанием и смысловыми акцентами. С 2016 по 2021 год в России можно отметить пять ключевых точек, спровоцировавших развитие данного дискурса.

Весной 2016 г. широкой общественности стало известно о проекте «Расследование Карагодина», посвящённом изучению обстоятельств и участников расстрела конкретного человека (прадеда Д. Карагодина) в рамках массовых политических репрессий 1937-1938 гг., на основании архивных документов, полученных в результате запросов и официальной переписки с архивами и различными ведомствами (Волчек, 2016; Курилла, 2016).

В ноябре 2016 года практически одновременно Д. Карагодин опубликовал на своём сайте наполненное внутренними переживаниями, осмыслением внезапно открывшегося такого родства и покаянием письмо внучки одного

из сотрудников НКВД, причастных к расстрелу его прадеда (Акт..., 2016), и общество «Мемориал»* открыло доступ к справочнику А. Жукова «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935–1939» — базе данных более 40 тысяч сотрудников НКВД (БД «Кадровый состав...», 2016).

Совпавшие по времени, эти два события вызвали широкие дискуссии и очередной всплеск интереса к теме «потомков палачей». В сети Интернет высказались разные общественные и политических деятели (Сванидзе, 2016; Черкасов, 2016; Самодуров, 2016) и официальные лица («Песков считает...», 2016), СМИ опубликовали подборки комментариев из социальных сетей (Пономарёва, 2016а; 2016б), взяли интервью как у «зачинщиков» обсуждения — Д. Карагодина («Выяснилось...», 2016; Волчек, 2016) и Я. Рачинского (Камакин, 2016), так и у самих «потомков палачей» (Карпов, 2016; Вишневецкая, 2016).

Я. Рачинский так обозначил цель публикации базы данных: «помимо сугубо научной стороны, есть общественная. Исследование трагического периода массовых репрессий до сих пор носило несколько односторонний характер: внимание уделялось жертвам преступлений, а виновные в преступлениях и исполнители оставались за кадром. Нужно знать имена и этих людей» (Камакин, 2016). Д. Карагодин в эпиграфе к публикации выдержек из письма Ю. Зыряновой под названием «Акт гражданского согласия и примирения» написал: «Внучка палача попросила прощения у правнука убитого им человека. Правнук в ответ протянул руку примирения и предложил “обнулить” ситуацию, полагая покончить, тем самым, с этой бесконечной российской гражданской войной» (Акт..., 2016). «Началось, кажется, впервые в нашей стране, активное обсуждение вопроса отношения потомков палачей к преступлениям своих предков», — многообещающе отмечали авторы журнала «CIVITAS: Вестник гражданского общества (Самодуров, 2016). И. Курилла по поводу «Расследования Карагодина» написал, что его последствия могут привести «к той дискуссии, что не состоялась у нас ни в 1950-е, ни в 1980-е годы» (Курилла, 2016).

Озвученные в СМИ с одной стороны опасения о возможной «мести со стороны потомков репрессированных» (Угланова, 2016) как потенциальной точке эскалации латентно присутствующей социальной напряжённости и раскола в российском обществе, с другой стороны натолкнулись на довольно сдержанную общую тональность обсуждений. Пресс-секретарь Президента РФ Д. Песков осторожно обозначил эту тему «достаточно чувствительной», подчеркнув, что по ней «мнения расходятся у многих, существуют диаметрально противоположные точки зрения» («Песков считает...», 2016). Н. Сванидзе связал «многоуровневость сложностей» этой темы, прежде всего, с проблемой субъекта ответственности за преступления прошлого и ответственности «потомков палачей» за их предков, указав, что они-то «точно ни в чём не виноваты» (Сванидзе, 2016). А. Черкасов, также рассуждая об ответственности, отметил: «главное — нет никакой «генетической предопределен-



ности» к палаческому ремеслу. ...«Жертвы» и «палачи» – не сословия, в которых вина, ответственность а priori перекладывается на потомков (и только на них). Внуки и правнуки не отвечают автоматически за своих предков: потомок не значит «наследник». Вступление в наследство – всегда сознательный акт, сознательный выбор» (Черкасов, 2016).

Опубликованные интервью и комментарии «потомков жертв» и «потомков палачей» показывали сложность переживаний с обеих сторон. А. Симо, внук расстрелянной вместе с С. Карагодиным Е. Симо, довольно ёмко сформулировал общий настрой:

«желание отомстить убийцам у меня, конечно, есть. Лучшее наказание – это чтобы они поняли, сколь позорно их дело... А что касается потомков – я не знаю, какая может быть месть. Возможно, они исповедуют совсем другие взгляды, мстить им совершенно не за что... но напомнить им о том, кем их дед был, и заставить определиться, на какой они стороне, видимо, надо» (Волчек, 2016).

Принцип освобождения от «грехов предков» вызвал поддержку у «потомков палачей»:

«что касается родственников преступников – они не несут ответственности за своих предков. Каждый должен быть судим только за свои дела» (А. Иванов),

«никто не должен отвечать за чужие грехи – ни в метафизическом смысле, ни в юридическом... мне не близка идея коллективного покаяния людей, виновных только в кровном родстве с сотрудниками НКВД. Я ...точно не виноват в том, что делал или чего не делал мой прапрадед... Человек отвечает только сам за себя» (С. Ореханов) (Карпов, 2016).

Предписываемая же потомкам обязанность «определиваться, на какой они стороне» вызывало сильное внутреннее напряжение – одновременно и желание, и нежелание признать вину предка: «виноватых не найти, да их и не было, виновата система», (Ю. Васильев), «я уверен, что все сотрудники НКВД – точно такие же жертвы этой системы, как и те, кого они отправляли в лагеря или расстреливали» (С. Ореханов) (Карпов, 2016), «какие-то страшные ужасы я про нее прочитала. Что чуть ли не сама она расстреливала людей» (Е. Пархоменко), «мы очень хотим узнать, как было дело... Мой сын, ему сейчас уже 23, думает о том, чтобы сменить фамилию. Он не хочет носить фамилию убийцы» (Ю. Завьялова) (Вишневецкая, 2016), и одновременно – «на самом деле, не знаю, зачем, но уверен, что надо знать и помнить... никто ни перед кем не виноват, никто не должен каяться, просто все должны знать и помнить» (С. Ореханов) (Пост С. Ореханова..., 2016), «народ имеет право знать свою историю, и скрывать эту информацию – преступление против него» (А. Иванов) (Карпов, 2016), «имя моего прадеда есть в этой базе. В том, что он – палач, я, к сожалению, не сомневаюсь. Просить прощения за то, чего не совершал я сам, я не буду: я не чувствую личной вины, палачество не передаётся по наследству. Но в то же время, я хочу сказать, что именно потому,

что палачество по наследству не передаётся, я волен оценивать поступки своего предка так, как мне подсказывают совесть и воспитание. Этим поступкам я ужасаюсь...» (Иван) (Комментарии..., 2016).

Ю. Самодуров очень точно обратил внимание на то, что хоть «общество ждет, чтобы потомки палачей публично осудили их участие в проведении политических репрессий», и это вполне логично, но сама идея «каяться», «публично просить прощения за своих дедушек и прадедушек или других родственников, виновных в осуществлении политических репрессий» – «неудачна», потенциально конфликтна. Он предлагает более приемлемую для «потомков палачей» стратегию: «мне кажется, что возможно публично осудить деда или прадеда за то, что они выбивали показания и расстреливали ни в чем не повинных, впоследствии реабилитированных людей, и в то же время не отказываться от них и даже продолжать любить» (Самодуров, 2016).

И. Щербакова также поддержала такой подход к «чувствительному» вопросу о «потомках палачей», уточнив, что «формально потомки сотрудников НКВД не несут никакой ответственности за поступки своих родственников и не должны ее нести. Принуждать никого нельзя. Кто-то хочет сказать: да, мне больно, что в истории моей семьи были такие люди. Кто-то просто промолчит и все». Тем не менее, «у потомков жертв должно быть право обвинить. Не потомков палачей, но самих палачей, даже если их нет в живых» (Карпов, 2016).

С. Бондаренко предложил вовсе «не делить людей на потомков жертв и палачей», полагая, что «эта преемственность сконструирована», а «с каждым последующим поколением» дистанция для обсуждения становится всё более безопасной (Вишневецкая, 2016).

Тем не менее, постепенное огосударствление политики памяти в целом и политики памяти об эпохе политических репрессий в частности за последние годы, ужесточение законодательства об «иноагентах» (Малев, 2018; Что меняется..., 2020; Вступили в силу..., 2021) и «нормализация» в общественном сознании риторики внешних и внутренних врагов, в том числе, через «нормализацию советского террора» (Эппле, 2021, с. 87) – всё это привело к определённой радикализации и поляризации мнений и в отношении темы «потомков палачей».

Дискуссии о «потомках палачей»: 2021 год

Ещё в 2017-2018 гг. герои публикаций Д. Волчека выражали обеспокоенность и тревогу по поводу разворачивающегося дискурса о «потомках палачей». Благодаря проекту Д. Карагодина о судьбе своего предка, сотрудника НКВД, узнала А. Опирхал. Родившись и проживая в Европе, она решила подробнее узнать «правду о дедушке из России», о том, что случилось и почему он до сих пор не реабилитирован. В интервью она рассказывает, что когда



получила ответ от Д. Карагодина: «ваш прадед – массовый убийца», – она «была потрясена», «действительно расстроилась», узнав, что «он повинен в стольких злодеяниях» (Волчек, 2017). Несмотря на то, что сама А. Опиρχал придерживается позиции диалога и примирения («похоже, наступило время для внуков и правнуков жертв и организаторов Большого террора заговорить о прошлом» (там же)), такую позицию Д. Карагодин называет скорее «гуманитарным исключением». Правилom же оказываются ситуации, когда, с одной стороны, «потомки палачей» пишут «комментарии к постам, из серии “это все ложь”, или “на самом деле он бы хороший человек, что бы вы о нем здесь не писали” и т. д.» (там же), а, с другой стороны, на «потомков палачей» выливается «бездосновательный и ничем не мотивированный» «чудовищный поток ненависти и угроз» в связи с предками (Волчек, 2018).

А. Антонов, в свою очередь, полемизируя в интервью с журналистом по поводу его замечания «вряд ли можно сказать, что ...родственникам палачей кто-то всерьез угрожает», задаёт ответный вопрос: «на каком фактическом основании вы говорите об отсутствии серьезных угроз с чьей-либо стороны в адрес потомков деятелей сталинской эпохи? Может быть потому, что неизвестны случаи расправ с ними? Или может быть, должна пролиться чья-то невинная кровь, чтобы вы начали считать иначе?» (там же). При этом сам А. Антонов поддерживает стратегию «диалога и примирения», высказанную Ю. Зыряновой, А. Опиρχал и др., но обращает внимание, что её трудно реализовать в современной России: «не мой предок, покойный, лишает меня возможности говорить о нем, а ныне живущие соотечественники, жаждущие найти очередной предмет ненависти» (Там же).

Следующий виток в обсуждении данной темы пришёлся на 2021 г. Если осенью 2016 г. Д. Карагодину внучка одного из сотрудников НКВД, причастных к расстрелу его прадеда, написала письмо-покаяние, то весной 2021 г. сын другого сотрудника НКВД, причастного к делу прадеда Д. Карагодина, подал заявление в полицию, обвиняя самого Дениса в дискредитации имени своего отца (Сын сотрудника..., 2021; Рыжкина & Лютова, 2021; «Они перешли...», 2021). Это событие породило новую волну дискуссий о трудной памяти, необходимости проработки прошлого и «потомках палачей».

И. Яковлев, руководитель пресс-службы партии «Яблоко», сам занимающийся исследованием семейной истории, сразу в день публикации новости об этом иске – 03 марта 2021 г. – выразил поддержку Д. Карагодину, сравнив его деятельность с «комиссиями правды» и подчеркнув, что он «извлекает из архивов и обнародует железобетонные доказательства причастности конкретных людей к массовым убийствам», причём «делает это совершенно без эмоций – сухо и юридически выверено» (Яковлев, 2021a). И. Яковлев не исключил возможность того, что таким иском может создаваться прецедент, чтобы «другим исследователям неповадно было копаться в архивах» (Там же).

Схожий взгляд высказала журналистка электронного издания «Газета.ру» в вышедшей на следующий день заметке с подзаголовком «Как россияне борются за наказание для палачей жертв репрессий» (Баландина, 2021).

Конфликт «потомка жертвы» и «потомка палача», выраженный в оппозиции: «все, кто причастен к убийству – убийцы» vs «нельзя считать человека преступником без решения суда», в конкретном случае «есть подпись на выписке из акта расстрела – значит, причастен» vs «нельзя считать причастным к убийству 20-летнего регистратора учетно-статистического отдела УНКВД», юристом М. Оленичевым интерпретируется следующим образом: «в этом деле сын бывшего сотрудника НКВД желает обелить имя своего отца, который работал в НКВД, но, по версии Сергея [Матюшова – прим. авт.], участия в убийствах мирных граждан не принимал. Если опубликованные Денисом [Карагодиным – прим. авт.] документы говорят о другом, то от истории никуда не деться: работал – принимал участие в репрессиях» (Там же).

Неопределённость обеих крайних позиций, приводящая к их обоюдной неудовлетворённости действиями друг друга, очень точно выразил в интервью «Комсомольской правде» один из инициаторов другого «иска о клевете» М. Прокофьев: «Клевета в том, что вина людей не доказана. Ни в одном документе не написано, что конкретные сотрудники наркомата внутренних дел – убийцы. Они не были осуждены» (Ворсобин & Стешин, 2021). Собственно, проект Д. Карагодина (и аналогичные ему) направлен как раз на то, чтобы поднять вопрос вины и ответственности организаторов и исполнителей массового террора эпохи политических репрессий 1930-х гг., прямо не указанной в официальных документах, и осудить преступников. В таком случае вопрос о клевете будет снят сам собой.

Вероятно, именно неопределённость юридического статуса «палачей» как преступников, этот юридический зазор – при сложившейся оценке эпохи в законе «О реабилитации жертв политических репрессий» (Закон РФ «О реабилитации...») и моральным сообществом, сформированном деятельностью «Мемориала»^{*} и схожих по целям организаций/проектов вокруг этой темы как однозначно преступной и отрицательной – становится серьёзным препятствием в выработке языка «симметричной памяти», оставляя трактовку деятельности «палачей» открытой для интерпретаций. Возможно, юридическая опора в определении исполнения служебных функций сотрудниками НКВД для осуществления массовых политических репрессий как однозначно преступных помогла бы в выработке языка «совместных воспоминаний» – как о преступлении, так и о травме («травме осознания»).

На сайте портала «Такие дела»¹ в мае 2021 г. журналистка А. Ковалли, предварив свой материал кратким изложением истории с иском С. Матюшова, предложила рассказать о трудном советском наследии через семейные

¹ СМИ, признанное в России иностранным агентом.



истории представителям обеих сторон. Нарративы потомков репрессированных выглядят достаточно однородными, следуя некоему негласно сложившемуся «канону» (жизнь до – арест – смерть/лагерь + страдания семьи – после освобождения) в тональности эмпатии, сострадания, бережности к отрывкам информации и воспоминаний и долга сохранить память о предке – даже при условии приверженности советским политическим идеалам («родство с репрессированным автоматически не означает критическое отношение к советской власти» (Ковалли, 2021)). Рассказчики уверены в своей правоте и праве на свидетельство.

Нарративы «потомков палачей» не имеют канона и словно находятся в поиске своего языка, транслируя читателю неуверенность и растерянность адресанта, непонимание, как правильно рассказывать о таком родстве, желание заручиться моральной поддержкой у общества, при этом не предав родства. Один из героев А. Ковалли рассказывает: «Мне трудно осмыслить семейную историю. Вот есть мамыны родственники, все они жертвы, вот есть папины родственники – это номенклатурная и благополучная советская семья, среди них и мой двоюродный прадед-энкавэдэшник. Грубо говоря, половина родственников – палачи, половина жертвы, но на самом деле все люди того времени отчасти были жертвами системы». Рассказчик, зная, что его родственник «лично убил довольно большое количество людей», словно пытается отгородиться (но не отречься!) от такого родства, подчёркивая, что он «в целом ...доволен, что это не родной прадед, а двоюродный» (личное измерение), и вообще, все они там были «жертвы системы» (социально-политическое измерение) (Там же). Вероятно, «странный набор эмоций», который испытывает герой А. Ковалли, это следствие/результат попытки сохранить позитивную самоидентичность в условиях «травмы осознания» родственной связи с «палачом» и отсутствия языка проговаривания такой истории в публичном пространстве – в качестве свидетельствующего для морального сообщества (по А. Ассман).

Потомки «двойного наследия»

Принципиальное различие описанных выше нарративов становится ещё более очевидным, когда в одном человеке сходятся обе роли – «потомка жертвы» и «потомка палача». Так, И. Яковлев на своей странице по изучению семейной истории под названием «Родословная энциклопедия» рассказывает в т.ч. про репрессированных родственников (своих и жены). Среди предков он обнаружил сотрудника НКВД. Пост об этом сам И. Яковлев назвал «признанием» («Признание: мой двоюродный прадед – участник Большого террора») и «каминг-аутом» (Яковлев, 2021б). В тексте одновременно присутствуют уже знакомый мотив ограждения от родственной связи («хотелось верить, что это просто однофамилец»), поиска дополнительных её подтверждений и

подтверждений преступлений («мне еще предстоит поехать в Иркутск, чтобы попробовать найти в архивах другие документальные доказательства вины двоюродного прадеда») и одновременно признания и принятия ситуации как она есть («вот такая семейная история – история страны в миниатюре. Не надо ее стесняться, как бы ни было неприятно. Надо искать правду и не повторять ошибок и преступлений предков») (Там же).

«Странный набор эмоций» и поиск языка их описания побуждает И. Яковлева самого наделить себя функцией свидетеля / свидетельствующего (в смысле А. Ассман) – только с противоположной стороны: «после этого каминг-аута считаю себя вправе обнародовать данные о других чекистах, чье участие в политических репрессиях 1930-х подтверждаются материалами архивных дел» (Там же).

Интересно, что «искупление» как механизм поддержания позитивной самоидентичности выражается у И. Яковлева в взаимосвязанном двунаправленном процессе: с одной стороны, он берёт на себя роль «семейного обвинителя» («цель у меня благородная – опубликовать как можно больше свидетельств преступлений своего родственника, раз государство не хочет этим заниматься» (Яковлев, 2021в)), демонстрируя деятельное осуждение предка (но не разрыв!), с другой – роль помощника в поиске репрессированных предков «потомкам жертв» (инверсия роли прадеда-«палача»), радуясь возможности прямого, искреннего и продуктивного диалога между потомками жертв и палачей («предок Алексея был жертвой, а мой – палачом. Как бы то ни было, у Алексея не было ко мне претензий. Напротив, он попросил меня помочь... Я дал несколько советов, и спустя полгода Алексей написал мне снова, на этот раз чтобы поделиться радостью. Он смог получить протоколы допросов, фотографии из следственного дела и другие ценные документы своего двоюродного деда» (Яковлев, 2021г)). В конце поста И. Яковлев делает важный для себя вывод: «мы можем друг другу помогать, вместе искать и находить правду о Большом терроре», находить «путь к национальному примирению» (Там же). При этом, «мы», в котором читается непреодоленная разделённость, в случае И. Яковлева (и подобных ему – одновременно потомков жертв и палачей) касается не только общества, но и его личности, целостность которой он поддерживает не покаянием словом, а искуплением действием, предлагая свой вариант достижения «симметричной памяти» о трудном прошлом в миниатюре.

И. Сажин, руководитель отделения «Мемориала»* в Республике Коми, в интервью порталу «Север.Реалии»*** также рассказывал о своём опыте осмысления двойного наследования: «изначально было очень сложно, потому что я же постепенно узнавал, по кусочкам. Сначала про деда репрессированного, уже в 90-е годы, потом про деда, которого я очень любил, ...который был охранником в тюрьме... Это постепенно все узнавалось. Но это приходилось принимать, потому что это история семьи, история родины, история



страны, и никуда от этого не деться. ...Все это приходило, приводило в трепет, в удивление – как же так, что это?.. Но потихоньку я понимал, что это часть всей истории страны, это часть каждого из нас. Очень легко быть на одной стороне, но невозможно быть на одной стороне. Мне приходится быть сразу на обеих сторонах и как-то это примирять. Никуда от этого не деться» (Прокопьева, 2021).

И. Сажин несколько раз повторяет, насколько сложно было осознавать факт родства с «палачом» (учитывая, что это был «дед, которого [он] очень любил»): через «трепет», «удивление», внутреннее переживание уже знакомого нам «странного набора эмоций», необходимость принятия (в форме долженствования) – к принятию(?). Налаживая диалог между «потомком жертвы» и «потомком палача» внутри себя, И. Сажин и идею покаяния трактует, прежде всего, как «покаяние перед самими собой», в котором наряду с социально-политическим смыслом (покаяние внутри одной нации) считается и индивидуальный. Следуя своему собственному опыту, он подчёркивает, что «надо научиться и прощать, и принимать, принимать и жертву, и палача... нам надо научиться разговаривать именно в плане уважения и той, и другой стороны...», завершая свою мысль утверждением: «увы, нам придется это сделать...» (Там же).

И. Сажин, как и И. Яковлев, своей деятельностью («искупление действием») и позицией («принять и простить») фактически демонстрирует возможную модель «симметричной памяти», в которой будут одинаково услышаны голоса потомков и жертв, и палачей. Тем не менее, долженствования – «надо», «должны», «придётся», которые в той или иной степени звучат у обоих носителей «двойного наследия», раскрывая их непростой путь переживания «травмы осознания», могут не выглядеть столь убедительно для потомков с какой-либо одной стороны, не столкнувшихся с ситуацией «быть сразу на обеих сторонах».

В отличие от И. Сажина, И. Яковлева и др., у «потомков жертв» и «потомков палачей» есть возможность «спрятаться» друг от друга – через закрытие/ограничение доступа в архивы, через создание сильного морального сообщества одной из сторон, через создание практик памяти, исключая участие другой стороны, через молчание и умолчания и т.д., сохраняя память о / предавая забвению «трудное прошлое» и затрудняя в настоящем разговор о нём.

В этом смысле личные практики выстраивания «симметричной памяти» и преодоления «травмы осознания» родства с «палачами» становятся особенно ценными для формирования общественных дискуссий и научного дискурса.

Радикализация языка и «асимметрия памяти»

На практике, тем не менее, в конце 2021 г. в социально-политическом поле был взят курс скорее на усиление «асимметрии памяти»: 25 ноября Прокуратура РФ подала иски и инициировала судебные процессы о ликвидации «Международного Мемориала»* и ПЦ «Мемориал»*, которые в конце декабря были удовлетворены решением Верховного суда РФ (Верховный суд..., 2021). Это событие дало новый импульс к обсуждению темы «потомков палачей», сильно контрастирующей со стратегией «гражданского мира», очень осторожно и несмело нащупываемой разными акторами ранее.

Н. Эппле в интервью от 3 декабря 2021 г. говорит о том, что «путь к национальному примирению, обретению гражданского единства» возможен, только если «договориться о прошлом», «выстроить инфраструктуру разговора о прошлом», «дав голос жертвам и потомкам жертв» (Колезев, 2021). Интересно, что «потомки палачей» трактуются Н. Эппле в одном смысловом поле с непосредственно палачами, когда он объясняет, почему считает «вражду потомков жертв и палачей – мифом»: «это миф и манипуляция, которые транслируются теми, кто не заинтересован в публикации фактов и имен палачей» (Там же), предполагая тем самым, что среди «манипуляторов» находятся, прежде всего, «потомки палачей».

Усиление обвинительного крена обозначилось и в комментариях к информационным интернет-публикациям и постам в социальных сетях о процессе по ликвидации Мемориала* и самом факте его ликвидации, общую направленность которых можно обозначить так: «реванш потомков сталинской вохры» (Лошак, 2021).

Радикализация языка, безусловно, сигнализирует об усилившейся радикализации позиций морального сообщества, сложившегося вокруг жертв и «потомков жертв», в отношении «потомков палачей» как потомков палачей. Однако можно утверждать, что в условиях усиления монополизации сферы памяти государственными акторами угроза «лишения голоса» и предания забвению касается обеих сторон: если «громкость» голоса «потомков жертв» власть стремится уменьшить, то робкие голоса «потомков палачей», вдруг узнавших о таком родстве, или носителей «двойного наследия» – сделать вовсе неслышными. Сложные этические и морально-психологические конструкции в выстраивании «общих воспоминаний» и «симметричной памяти», требующие гибкого подхода и поощрения инициативных низовых практик, признающих «множественность памятей» и интерпретаций в эпоху постмодерна – являясь ключевыми принципами в работе с «трудным прошлым», не являются сегодня стержневыми принципами государственной политики памяти.

Н. Эппле объясняет это следующим образом: негосударственные, низовые практики памяти направлены на то, чтобы сделать очевидным тезис «интересы



государства не могут быть выше и важнее ценности человеческой жизни» (Колезев, 2021). Такая позиция подразумевает, что не государство, а человек решает, «что можно, а что нельзя государству» (Там же), то есть человеческое измерение опрокидывается в политику, диктуя собственную логику вины и ответственности, не согласующуюся с официальной позицией власти.

Кроме того, отсутствие юридически оформленной позиции власти в отношении памяти об эпохе политических репрессий, включая руководителей и организаторов массового террора и отдельных участников этого процесса с обеих сторон («жертв», «палачей», а также «доносчиков» и пр.), затрудняет / делает невозможным публичное выстраивание «совместных воспоминаний» их потомков. Это, в свою очередь, способствует размытости категории «потомки плачей», которая в условиях юридической неопределённости субъекта вины и ответственности позволяет распространять вину и ответственность на широкий круг людей и институций без подтверждения их причастности к преступлениям, что ещё больше усложняет выстраивание «симметрии памяти».

Заключение

Исследования Н. Эппле, Е. Лёзиной, Д. Хлевнюк и Г. Юдина (Преодоление..., 2019) и др. убедительно показывают необходимость «проработки» травматичного прошлого для достижения гражданского мира и возможности стабильного социально-политического развития в самых разных странах мира. Разные общества и государства предлагают отличающиеся друг от друга по степени успешности / глубины / юридического оформления варианты разговора о трудных страницах истории, выстраивании «совместных воспоминаний» жертв, палачей и их потомков.

В 2019 г. Д. Хлевнюк и Г. Юдин, исследуя сценарии работы с трудным прошлым в поисках аналогичного сценария для России, писали о том, что хотя «для коллективного преодоления трудного прошлого в России еще не придумано надежных инструментов», тем не менее, «россияне готовы – вместе и заново – пережить XX век, чтобы он перестал разделять нас на враждующие блоки..., что признавать свою вину, вслух говорить о трагедиях прошлого, чтобы больше их не повторять, – может оказаться по силам нашему обществу» (Преодоление..., 2019).

2021 год в некоторой степени изменил конфигурацию смыслов, акторов и сил, но зафиксированная Д. Хлевнюк и Г. Юдиным готовность / способность / потребность к переосмыслению прошлого даёт основания полагать, что даже в условиях ограниченных возможностей попытки выстраивания «симметричной памяти» «потомков жертв» и «потомков палачей» будут продолжаться.

* Организация, признанная в России иностранным агентом и ликвидированная по решению Верховного Суда РФ.

** Социальная сеть, признанная в России принадлежащей экстремистской организации.

*** СМИ, признанное в России иностранным агентом.

Список литературы

- Акт гражданского согласия и примирения. (2016, ноябрь 21). Расследование КАРАГОДИНА.
<https://karagodin.org/?p=11119>
- Ассман, А. (2014). Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. Новое Литературное Обозрение.
- Бондаренко, С. (2016, март 25). «Все функции чувств уничтожены». Интервью с создателем проекта «Бессмертный барак». <https://urokiistorii.ru/articles/vse-funkcii-chuvstv-unichtozheny>
- Верховный Суд ликвидировал «Мемориал»*. (2021, декабрь 28). ТАСС.
<https://tass.ru/obschestvo/13316607>
- Вишневецкая, Ю. (2016, декабрь 12). Что чувствуют сегодня потомки сотрудников НКВД. «DW»***. <https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B4/a-36741589>
- Волчек, Д. (2016a, июнь 18). Произошло убийство. «Радио Свобода»***.
<https://www.svoboda.org/a/27803161.html>
- Волчек, Д. (2016b, ноябрь 26). Почта Дениса Карагодина. «Радио Свобода»***.
<https://www.svoboda.org/a/28139306.html>
- Волчек, Д. (2017, декабрь 12). Ваш прадед – массовый убийца. «Радио Свобода»***.
<https://www.svoboda.org/a/28375447.html>
- Волчек, Д. (2018, март 17). «Мы тычем палкой в пасть зверя». Разговор с правнуком чекиста. «Радио Свобода»***. <https://www.svoboda.org/a/29101852.html>
- Ворсобин, В., & Стешин, Д. (2021, май 4). Эхо сталинских репрессий: Надо ли делить своих предков на палачей и жертв. Комсомольская правда.
<https://www.kp.ru/daily/27273/4408100/>
- Вступили в силу новые требования к НКО-иноагентам. (2021, октябрь 6). Государственная Дума.
<http://duma.gov.ru/news/52377/>
- «Выяснилось, что в одной семье и жертвы, и палачи» Денис Карагодин нашел имена тех, кто расстрелял его прадеда. (2016, ноябрь 21). Meduza***.
<https://meduza.io/feature/2016/11/21/vyyasnilos-chno-v-odnoy-semie-i-zhertvy-i-palachi>
- Дорман, В. (2010). От Соловков до Бутово: Русская православная церковь и память о советских репрессиях в постсоветской России. *Laboratorium: Журнал социальных исследований*, 2, 327–347.
- Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 N 1761-1 (последняя редакция). (б. д.). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/



- Камакин, А. (2016, ноябрь 29). Потомки сотрудников НКВД начали присылать «Мемориалу»* данные о предках. Координатор «Справочника о чекистах» рассказал, что его сайт атакуют черви и боты. <https://www.mk.ru/politics/2016/11/29/potomki-sotrudnikov-nkvd-nachali-prisylat-memorialu-dannye-o-predkakh.html>
- Карпов, М. (2016, декабрь 10). «По-другому было и нельзя» Как потомки сотрудников НКВД оценивают деятельность своих родственников. Lenta.RU. https://lenta.ru/articles/2016/12/02/nkvd_list/
- Ковалли, А. (2021, май 31). «Просить прощения у одной части семьи за другую». <https://takiedela.ru/2021/05/prosit-proshheniya-u-odnoy-chasti-semi/> ***
- Колезев, Д. (2021, декабрь 3). Травма сталинизма. Как память о Большом терроре влияет на власть и общество в современной России. Разговор с Николаем Энгле. «Republic»***. <https://republic.ru/posts/102498>
- Курилла, И. (2016, июль 14). Назовите имена палачей. Как в России возрождается память о прошлом. Расследование КАРАГОДИНА. <https://karagodin.org/?p=7617>
- Курилла, И. (2022). Битва за прошлое: Как политика меняет историю. Альпина Паблишер.
- Лёзина, Е. (2021). XX век: Проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы. Новое литературное обозрение.
- Лошак, А. (2021, декабрь 28). Пост в социальной сети «Facebook»**. Facebook**. <https://www.facebook.com/andrey.loshak/posts/10159670691812094>
- Малаев, М. (2018, июль 3). Как в России появились «иностранцы агенты». Коммерсант. <https://www.kommersant.ru/doc/3676012>
- «Они перешли политическую грань». Сын сотрудника НКВД — о том, почему написал заявление на расследователя репрессий. (2021, март 3). Вот Так. <https://vot-tak.tv/novosti/03-03-2021-son-nkvd-oppression/>
- Ореханов, С. (2016, ноябрь 25). Пост в социальной сети «Facebook»**. Facebook**. <https://www.facebook.com/simaorehanov/posts/1315976915135348>
- Палач или жертва: Сын чекиста заявил в полицию на потомка репрессированного. (2021, март 4). Газета.Ru. <https://www.gazeta.ru/social/2021/03/03/13499360.shtml>
- Песков считает чувствительным вопрос о публикации данных сотрудников НКВД. (2021, ноябрь 24). ТАСС. <https://tass.ru/politika/3809752>
- Пономарёва, А. (2021a, ноябрь 23). Найти палачей, простить потомков. Радио Свобода***. <https://www.svoboda.org/a/28134691.html>
- Пономарёва, А. (2021b, ноябрь 25). Пожалейте, люди, палачей. Радио Свобода***. <https://www.svoboda.org/a/28138998.html>
- Преодоление трудного прошлого: Сценарий для России. (2019). Трудная память. <http://trudnaya-pamyat.ru>
- Прокопьева, С. (2021, ноябрь 20). «Надо простить всех». Один дед был репрессирован, другой — в СМЕРШе. Север.Реалии***. <https://www.severreal.org/a/odin-ded-byi-repressirovan-drugoy-v-smershe/31569786.html>

- Рыжкина, Н., & Лютова, Е. (2021, март 4). «Мой отец не палач, у него – награды!»: Сын сотрудника НКВД написал заявление на правнука расстрелянного сибиряка. Московский комсомолец. <https://www.nsk.kp.ru/daily/27247/4376858/>
- Самодуров, Ю. (2016, ноябрь 28). Потомки палачей. Вестник CIVITAS. <http://vestnikcivitas.ru/pbls/4023>
- Сванидзе, Н. (2016, ноябрь 30). Чистка исторических сосудов: Жертвы, палачи и их потомки. Вести.ру. <https://www.vesti.ru/article/1641103>
- Трубицына, Л. В. (2005). Процесс травмы. Смысл; ЧеРо.
- Углонова, К. (2016, ноябрь 27). В сети появилась база данных сотрудников НКВД, расстреливавших омичей. Комсомольская Правда. Омск. <https://www.omsk.kp.ru/daily/26612.7/3629151/>
- Хирш, М. (2016). Что такое постпамять. Уроки истории. <https://urokiistorii.ru/articles/chto-takoe-postpamjat>
- Черкасов, А. (2016, декабрь 2). Взглядываясь в бездну. Inliberty. <https://old.inliberty.ru/blog/2444-Vglyadyvayas-v-bezdn>
- Что меняется в законодательстве об иноагентах? (2020, декабрь 23). Государственная Дума. <http://duma.gov.ru/news/50387/>
- Эппле, Н. (2021). Неудобное прошлое: Память о государственных преступлениях в России и других странах. Новое Литературное Обозрение.
- Эткинд, А. (2016). Кривое горе: Память о непогребенных. Новое литературное обозрение.
- Яковлев, И. (2021a, март 3). В поддержку расследования Карагодина. Родословная энциклопедия. <https://yakovlev.family/2021/03/03/v-podderzhku-rassledovaniya-karagodina/>
- Яковлев, И. (2021b, апрель 9). Признание: Мой двоюродный прадед – участник Большого террора. Родословная энциклопедия. <https://yakovlev.family/2021/04/09/priznanie/>
- Яковлев, И. (2021c, октябрь 30). Воодушевляющая история в День памяти жертв политических репрессий. Родословная энциклопедия. <https://yakovlev.family/2021/10/30/30oct/>
- Яковлев, И. (2021d, декабрь 13). Нашел человека, чье дело в 1938-м вел мой родственник-чекист. Родословная энциклопедия. <https://yakovlev.family/2021/12/13/eskevich-bereza/>

* Организация, признанная в России иностранным агентом и ликвидированная по решению Верховного Суда РФ.

** Социальная сеть, признанная в России принадлежащей экстремистской организации.

*** СМИ, признанное в России иностранным агентом.

References

- “They crossed the political line.” Son of NKVD officer – about why he wrote a report on the investigator of repressions. (2021, March 3). Vot Rak. <https://vot-tak.tv/novosti/03-03-2021-son-nkvd-oppression/> (In Russian).



- "Turns out there are both victims and executioners in the same family." Denis Karagodin found the names of those who shot his great-grandfather. (2016, November 21). Meduza***. <https://meduza.io/feature/2016/11/21/vyvasnilos-chto-v-odnoy-semie-i-zhertvy-i-palachi> (In Russian).
- An Act of Civic Concord and Reconciliation. (2016, November 21). KARAGODIN Investigation. <https://karagodin.org/?p=11119> (In Russian).
- Assman, A. (2014). *The Long Shadow of the Past: Memorial Culture and Historical Politics*. New Literary Review. (In Russian).
- Bondarenko, S. (2016, March 25). "All functions of the senses have been destroyed." Interview with the creator of the "Immortal Barracks" project. <https://urokiistorii.ru/articles/vse-funkcii-chuvstv-unichtozheny> (In Russian).
- Cherkasov, A. (2016, December 2). Staring into the abyss. Inliberty. <https://old.inliberty.ru/blog/2444-Vglyadyvayas-v-bezdnu> (In Russian).
- Dorman, V. (2010). From Solovki to Butovo: The Russian Orthodox Church and the Memory of Soviet Repression in Post-Soviet Russia. *Laboratorium*, 2, 327–347. (In Russian).
- Epple, N. (2021). *An Inconvenient Past: Remembering State Crimes in Russia and Other Countries*. New Literary Review. (In Russian).
- Etkind, A. (2016). *Crooked Mountain: Memory of the Unburied*. New Literary Review. (In Russian).
- Executioner or Victim: The Son of a Chekist Reported to the Police on the Descendant of a Repressed Person. (2021, March 4). Gazeta.Ru. <https://www.gazeta.ru/social/2021/03/03/13499360.shtml> (In Russian).
- Hirsch, M. (2016). What is post-memory. History Lessons. <https://urokiistorii.ru/articles/chto-takoe-postpamjat> (In Russian).
- Kamakin, A. (2016, November 29). Descendants of NKVD officers started sending data about their ancestors to Memorial*. The coordinator of the "Directory of Chekists" said that his site was attacked by worms and bots. <https://www.mk.ru/politics/2016/11/29/potomki-sotrudnikov-nkvd-nachali-prisylat-memorialu-dannye-o-predkakh.html> (In Russian).
- Karpov, M. (2016, December 10). "It wasn't the other way around." How the descendants of NKVD officers assess the activities of their relatives. Lenta.RU. https://lenta.ru/articles/2016/12/02/nkvd_list/ (In Russian).
- Kolezev, D. (2021, December 3). *The Trauma of Stalinism. How the memory of the Great Terror influences power and society in contemporary Russia. A Conversation with Nikolai Epple*. Republic***. <https://republic.ru/posts/102498> (In Russian).
- Kovalli, A. (2021, май 31). "Asking forgiveness from one part of the family for another." <https://takiedela.ru/2021/05/prosit-proshheniya-u-odnoy-chasti-semi/> *** (In Russian).
- Kurilla, E. (2022). *The Battle for the Past: How Politics is Changing History*. Alpina Publisher. (In Russian).
- Kurilla, I. (2016, July 14). Name the names of the executioners. How Russia is reviving the memory of the past. KARAGODIN Investigation. <https://karagodin.org/?p=7617> (In Russian).
- Law of the Russian Federation "On Rehabilitation of Victims of Political Repressions" from 18.10.1991 N 1761-1 (last edition). (n.d.). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/ (In Russian).

- Lezina, E. (2021). *The 20th Century: Working Through the Past. Practices of Transitional Justice and the Politics of Memory in Former Dictatorships. Germany, Russia, and Central and Eastern European Countries*. New Literary Review. (In Russian).
- Loshak, A. (2021, December 28). A post on Facebook**. Facebook**. <https://www.facebook.com/andrey.loshak/posts/10159670691812094> (In Russian).
- Malaev, M. (2018, July 3). How “foreign agents” appeared in Russia. Kommersant. <https://www.kommersant.ru/doc/3676012> (In Russian).
- New requirements for non-profit organizations – foreign agents came into force. (2021, October 6). The State Duma. <http://duma.gov.ru/news/52377/> (In Russian).
- Orekhanov, S. (2016, November 25). A post on Facebook**. Facebook**. <https://www.facebook.com/simaorehanov/posts/1315976915135348> (In Russian).
- Overcoming a Difficult Past: A Scenario for Russia. (2019). Difficult memory. <http://trudnaya-pamyat.ru> (In Russian).
- Peskov considers the issue of publishing data of NKVD officers sensitive. (2021, November 24). TASS. <https://tass.ru/politika/3809752> (In Russian).
- Ponomareva, A. (2021a, November 23). Find the executioners, forgive the descendants. Radio Liberty***. <https://www.svoboda.org/a/28134691.html> (In Russian).
- Ponomareva, A. (2021b, November 25). Have pity on the executioners, people. Radio Liberty***. <https://www.svoboda.org/a/28138998.html> (In Russian).
- Prokopyeva, S. (2021, November 20). “We must forgive everyone.” One grandfather was repressed, the other in the SMERSH. North.Realities***. <https://www.severreal.org/a/odin-ded-byl-repressirovan-drugoy-v-smershe/31569786.html> (In Russian).
- Ryzhkina, N., & Lyutova, E. (2021, March 4). “My father is not an executioner, he has awards!”: The son of a NKVD officer wrote a statement about the great-grandson of a executed Siberian. Moskovsky Komsomolets. <https://www.nsk.kp.ru/daily/27247/4376858/> (In Russian).
- Samodurov, Y. (2016, November 28). Descendants of the Executioners. Herald CIVITAS. <http://vestnikcivitas.ru/pbls/4023> (In Russian).
- Svanidze, N. (2016, November 30). Cleaning the Historical Vessels: Victims, Executioners, and Their Descendants. Vesti.ru. <https://www.vesti.ru/article/1641103> (In Russian).
- The Supreme Court has liquidated Memorial*. (2021, декабрь 28). TASS. <https://tass.ru/obschestvo/13316607> (In Russian).
- Trubitsyna, L. V. (2005). *The trauma process. Meaning; CheRo*. (In Russian).
- Uglanova, K. (2016, November 27). A database of NKVD officers who shot Omsk residents appeared online. Komsomolskaya Pravda. Omsk. <https://www.omsk.kp.ru/daily/26612.7/3629151/> (In Russian).
- Vishnevetskaya, Y. (2016, December 12). How the descendants of the NKVD feel today. DW***. <https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B4/a-36741589> (In Russian).



- Volchek, D. (2016a, June 18). There has been a murder. *Radio Liberty****. <https://www.svoboda.org/a/27803161.html> (In Russian).
- Volchek, D. (2016b, November 26). Post by Denis Karagodin. *Radio Liberty****. <https://www.svoboda.org/a/28139306.html> (In Russian).
- Volchek, D. (2017, December 12). Your great-grandfather was a mass murderer. *Radio Liberty****. <https://www.svoboda.org/a/28375447.html> (In Russian).
- Volchek, D. (2018, March 17). "We poke a stick in the mouth of the beast". A conversation with the great-grandson of a Chekist. *Radio Liberty****. <https://www.svoboda.org/a/29101852.html> (In Russian).
- Vorsobin, V., & Steshin, D. (2021, May 4). *Echoes of Stalin's Repressions: Should We Divide Our Ancestors Into Executioners and Victims?* Komsomolskaya Pravda. <https://www.kp.ru/daily/27273/4408100/> (In Russian).
- What is changing in the legislation on foreign agents? (2020, December 23). The State Duma. <http://duma.gov.ru/news/50387/> (In Russian).
- Yakovlev, I. (2021a, March 3). In support of the Karagodin investigation. *Genealogical Encyclopedia*. <https://yakovlev.family/2021/03/03/v-podderzhku-rassledovaniya-karagodina/> (In Russian).
- Yakovlev, I. (2021b, April 9). Confession: My great-uncle was a participant in the Great Terror. *Genealogical Encyclopedia*. <https://yakovlev.family/2021/04/09/priznanie/> (In Russian).
- Yakovlev, I. (2021c, October 30). An inspiring story on the Day of Remembrance for Victims of Political Repressions. *Genealogical Encyclopedia*. <https://yakovlev.family/2021/10/30/30oct/> (In Russian).
- Yakovlev, I. (2021d, December 13). Found the man whose case in 1938 was handled by my KGB relative. *Genealogical Encyclopedia*. <https://yakovlev.family/2021/12/13/eskevich-bereza/> (In Russian).

* An organization recognized in Russia as a foreign agent and liquidated by decision of the Supreme Court of the Russian Federation.

** Social network recognized in Russia as belonging to an extremist organization.

*** Media recognized in Russia as a foreign agent.

The Stigmatisation of Family in the Biography of the Soviet Leader (on the Example of Army General A. V. Khrulev)

Elena A. Popravko

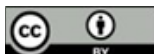
Army General A. V. Khrulev Military Academy of Logistics. Saint Petersburg, Russia
Email: elena_popravko[at]mail.ru

Abstract

Creation of Soviet leader official biography assumed using of class patterns. This formed an exclusion zone connected with stigmatization of a family. The soviet leader – “faithful son of the party” – was a man out of nowhere, a production of social industry. However, social experience linked with the family could determine the character’s attitude to major landmarks of the epoch. But some information about the true origin didn’t disappear. It was accumulated to be used as a tool of social control within the framework of repressive policies. The stigmatization of a family as an important part of social rise during the soviet period is studied basing on the biography materials of Army General A. V. Khrulev. The official biography contained mix of real and fictional information, which were constructed following ideological patterns. The true status of Khrulev’s family was reconstructed on the basis of non-published archival materials. The status of Khrulev’s family caused problems for its members who occupied high positions in soviet hierarchy: they were accused of using hired labor (being kulaks) in 1930; of using position by some family members (Mikhail was a deputy chairman of the Murmansk Executive Committee, Andrei – a high ranking military commander). In 1938 Mikhail Khrulev was convicted under article 58 of Criminal Code of RSFSR, and that transformed the status of all relatives: they became “family members of traitor to Homeland”. In this research, the influence of these facts is studied, forming the attitude of Army General A. V. Khrulev to repressive policy of the Soviet state at 1930s – early 1950s, and, namely, to those persons who were responsible for carrying out repressive policy in practice.

Keywords

A. V. Khrulev; Family; Social Stigma; Biography; Soviet Leader; Repression; Social Control; Social Myth; Ideology; Class Pattern



This work is licensed under a [Creative Commons “Attribution” 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Семья как стигма в биографии советского руководителя (на примере генерала армии А. В. Хрулёва)

Поправко Елена Александровна

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии
А. В. Хрулёва. Санкт-Петербург, Россия. Email: elena_popravko@mail.ru

Аннотация

Выстраивание официальной биографии советского руководителя предполагало следование классовым шаблонам. Это формировало зону отчуждения, связанную со стигматизацией собственной семьи. Советский руководитель – «верный сын партии» – оказывался человеком из ниоткуда, продуктом социального производства. Это не исключало, что социальный опыт, связанный с семьёй, становился источником мотиваций для конкретного лица, определяя его отношение к ключевым событиям эпохи. Но информация о подлинных обстоятельствах происхождения не исчезала. Она накапливалась, чтобы служить инструментом социального контроля, в том числе в рамках репрессивной политики. Стигматизация собственной семьи как неотъемлемая часть подъёма по социальной лестнице для советского руководителя исследуется на материалах биографии генерала армии А. В. Хрулёва. Официальная биография содержала как реальные, так и вымышленные сведения, выстроенные по идеологически обусловленному шаблону. Реальная семья Хрулёвых, статус которой реконструируется на основе впервые вводимых в оборот архивных материалов, была источником социально-классовых проблем её членов, занимавших высокие позиции в советской иерархии: в 1930 г. их обвиняли в использовании наёмного труда (кулаки), в использовании положения отдельных членов семьи (Михаила – заместителя председателя Мурманского окружкома и Андрея – высокопоставленного военачальника). В 1938 г. Михаил Хрулёв был осуждён по ст. 58 УК РСФСР, что сразу изменило статус всех родственников – «члены семьи изменника Родины». Исследуется влияние этих обстоятельств на отношение генерала армии Хрулёва к репрессивной политике 1930-х – начала 1950-х гг., к конкретным лицам, которые отвечали за проведение репрессивной политики на практике.

Ключевые слова

А. В. Хрулёв; семья; социальная стигма; биография; советский руководитель; репрессии; социальный контроль; социальный миф; идеология; классовый шаблон



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons “Attribution” \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Введение

Выстраивание официальной биографии советских руководителей предполагало следование классовым шаблонам. Это формировало зону отчуждения, связанную со стигматизацией собственной семьи. Советский руководитель – «верный сын партии» – оказывался человеком из ниоткуда, продуктом социального производства, с биографией, написанной как под копирку. Это не исключало, что социальный опыт, связанный с семьёй, становился источником мотиваций для конкретного лица, определяя его отношение к ключевым событиям эпохи. Со стороны социума информация о подлинных обстоятельствах происхождения накапливалась, чтобы служить инструментом социального контроля, в том числе в рамках репрессивной политики. «Неправильное» происхождение или наличие репрессированных членов семьи были одними из главных стигм многих руководителей советского периода.

Стигматизация собственной семьи как неотъемлемая для советского руководителя часть подъёма по социальной лестнице исследуется на материалах биографии генерала армии А. В. Хрулёва.

В основу методологии положены концепции Э. Дюркгейма о социальных нормах и патологии как феноменах, связанных с социальным контролем (Дюркгейм, 1966, с. 39–44), О. Ранка о мифе о герое как результате личной и коллективной травмы (Ранк, 1997) и теория стигматизации И. Гоффмана (Goffman, 1986).

Реальный статус семьи Хрулёвых, взаимоотношения её членов и их влияние на отношение генерала армии А. В. Хрулёва к репрессивной политике Советской власти исследуется на основе как опубликованных, так и архивных материалов, впервые вводимых в оборот исторической науки. Эти документы отложились в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), Архиве Управления Федеральной службы безопасности по Мурманской области (Архив УФСБ МО), Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО).

Семья Хрулевых: состав, экономическое положение

Официальная биография генерала А. В. Хрулёва, впервые изложенная в монографии И. С. Шияна (Шиян, 1980), содержала как реальные, так и вымышленные сведения, выстроенные по идеологически обусловленному шаблону. В свою очередь, данная монография стала шаблоном для написания последующих биографий (Карпов, 2004; Марченко, 2007; Топоров, 2017, с. 7–15; Топоров, Аверьянов, Кривошеев, Сельменев, & Носков, 2017).

Кратко суть официальной биографии была изложена И. С. Шияном уже в предисловии:

«Выходец из бедной крестьянской семьи, Андрей Васильевич прошел рабочую закалку в Петрограде, активно участвовал в Февральской и Великой Октябрьской социалистической революциях. В тяжелые годы гражданской войны



он сражался в рядах прославленной 1-й Конной армии. И в дальнейшем, куда бы ни посылала его партия, Хрулев всюду отдавал все свои силы и знания, творческую энергию, выдающиеся организаторские способности делу укрепления Советских Вооруженных Сил. Вместе с ними Хрулев рос и мужал, пройдя путь от красноармейца до генерала армии» (Шиян, 1980, стр. 3).

Выделенное курсивом в этой цитате – мифологические элементы, включённые в реальные факты и оценочные суждения. В раскрытии «мифа о герое» (если пользоваться терминологией О. Ранка) И. С. Шиян использует идеологический шаблон: отец – молотобоец-пролетарий на Путиловском заводе; многодетная семья – «двенадцать душ»; бедная жизнь; раннее начало трудовой жизни: с 11 лет – подмастерье в ювелирной мастерской, потом слесарь на Охтенском заводе взрывчатых веществ; детство и юность «в каторжном труде от зари до зари»; раннее вступление в политическую борьбу – с 13 лет, что привело к административной ссылке на 2 года «в Эстонию». Единственный необъяснимый факт в этом изложении – позднее вступление А. В. Хрулёва в партию: «В марте 1918 года» (Шиян, 1980, с. 5–6).

Созданный И. С. Шияном миф повторил (вплоть до заимствования некоторых описаний: «в каторжном труде от зари до зари») А. Д. Марченко (Марченко, 2007, с. 11, 13, 14–15, 17, 18). Остальные биографы мало уделяли внимания раннему этапу, рисуя его буквально в несколько предложений, но не забывали упомянуть главные элементы идеологического шаблона – бедность семьи, пролетарские занятия отца и самого А. В. Хрулёва, раннее вступление в политическую борьбу, участие в революции и в Гражданской войне (Топоров, 2017, с. 7–8; Топоров, Аверьянов, Кривошеев, Сельменев, & Носков, 2017, с. 4–6).

В официальном варианте биографии все старались не замечать противоречий. Рассмотрим некоторые из них и на основе документов восстановим реальный социальный облик семьи Хрулёвых.

Противоречие первое: как может быть бедной семья, в которой семь душ мужского пола, с рождения имеющих право на земельный надел? Мужская часть семьи включала главу семьи Василия Васильевича Хрулёва и шестерых сыновей: Василия, Кузьму, Павла, Симеона (Семёна), Михаила и Андрея.

Каким был размер семейного надела до революции, нам установить не удалось. Но согласно протоколу семейного раздела от 18 октября 1918 г. Павел Хрулёв получил 10 дес. земли (включая усадьбу). Остальные члены семьи (в их число входили проживавшие в Петрограде Михаил – начальник финансового отдела Пороховского районного исполкома и Андрей – комендант Революционной охраны Пороховского района) продолжали использовать семейный надел вместе, но оговаривалось право выделиться: «... получить землю одним углом, при условии разработки такого же количества земли, какое окажется разработанным на участке после семейного раздела» (ЦГАИПД СПб. Д. 512596. Л. 61–61 об.).

Чтобы понять, много это или мало – 70 десятин (60 – после выделения Павла), обратимся к данным статистики. Н. А. Рожков отмечал: «В крестьянских наделных землях средний надел на душу между 1860 и 1880 годами уменьшился с 4,8 дес. до 3,5 дес.» (Рожков, 1925, с. 45). Для процветания крестьянского хозяйства имело значение не только среднедушевое, но и общедворовое землевладение. В. А. Костин приводил следующие данные по Петербургской губернии: «23,7% дворов имели только по 5 дес. ... Надельное землеобеспечение от 5 до 10 дес. охватывало 52,6% дворов ... Если принимать во внимание, что В. И. Ленин считал самостоятельным земельным крестьянским хозяйством, сводящим концы с концами, только хозяйство, обладающее не менее 15 дес.» (Костин, 1992, с. 7). Это позволяет нам сделать вывод, что даже если только после революции подушевые наделы Хрулёвых выросли до 10 дес., а общедворовое землевладение увеличилось до 70 дес. (60 – после выделения Павла) – это была семья с большим наделом, позволявшим вести товарное хозяйство.

Противоречие второе: как может быть бедной семья, где мужчины имеют круглогодичный приработок? Отец был кузнецом, в молодости в «отход» работал по специальности на Путиловском заводе, а вернувшись в деревню и сам имел дополнительный круглогодичный приработок, и учил мастерству сыновей.

М. В. Хрулёв неоднократно в анкетах и автобиографиях 1920-х–1930-х гг. отмечал владение профессией кузнеца (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 558848/1. Л. 7; Д. 558848/2. Л. 30).

Также в допросе 1937 г. он указал, что «брат Семён Васильевич Хрулёв ... работает в колхозе кузнецом» (Архив УФСБ МО. Ф. 140. Оп. 3. Д. 1049/2. Л. 46 об.).

Наличие кузницы в хозяйстве семьи зафиксировано протоколом раздела отцовского хозяйства и выделения сыновей от 18 октября 1918 г. Кузьма Васильев (старший брат А. В. Хрулёва, никогда не покидал деревню Большая Александровка, в которой родился, и в документах его фамилия, в отличие от отца и братьев, производилась от отчества) владел кузницей даже тогда, когда в стране началась коллективизация, что зафиксировано в документах 1929–1930 гг. (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 512596. Л. 71, 73, 74, 83)?

Кроме того, в документах 1929–1930 гг. отмечалось наличие у семьи других источников дохода: «... до революции ХРУЛЁВЫ имели 5 коров, 2 лошади ... До революции ХРУЛЁВЫ, кроме сельского хозяйства занимались выделкой корпусов для карапашек, ванкуров и дровней для саней, без наёмного труда» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 512596. Л. 83).

Российскую империю характеризовали низкие показатели грамотности: для Санкт-Петербургской губернии доля неграмотных исчислялась в 40,89 % (Рубакин, 1893, с. 548). Это сдерживало социальную мобильность – неграмотному сложно было претендовать на подъем по социальной лестнице. Хрулёвы



все были грамотны и стремились к получению не только образования, но и профессий, предполагавших социальный рост. Их отличали лидерские качества, которые проявлялись как на местном уровне – в наличии авторитета у соседей, так и амбиции, связанные с желанием изменить свою судьбу. Реалии сословной Российской империи порождали недовольство имеющимися социальными препятствиями для личного роста, что приводило к формированию революционных и антиправительственных настроений у членов семьи.

Павел Васильевич (1886 г. р.) служил в императорской армии «старшим писарем» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 497350. Л. 1).

Михаил Васильевич (1887 г. р.), будучи призван на действительную службу в 1910 г., служил «в должности полкового писаря», получил предложение остаться «на должности делопроизводителя», но не согласился, т. к. «не переносил того солдатского режима, который применялся к "серой скотинке"». «По приезду из Сибири /место службы/ ... решил больше в деревню не возвращаться и в январе м-це 1913 г. поступил в качестве конторщика в Строительную Комиссию, именуемую "Особая Комиссия по постройке Морского и Главного Артиллерийского полигонов", где прослужил в должностях конторщика-писца, счетовода и бухгалтера до октября 1918 г.» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 558848/2. Л. 30).

Аналогичный вариант жизненного пути (за исключением службы в императорской армии) в дореволюционный период характеризует Андрея (1892 г. р.): в 11 лет его отправили работать в частную мастерскую («золотых дел мастера»), в 1915 г. он устроился работать на Охтенский завод взрывчатых веществ (возможно, что этому способствовал старший брат – Михаил, который уже работал в комиссии, находившийся, как и завод, в ведении Главного артиллерийского управления). В официальной биографии, в угоду идеологии советского времени, он утверждал, что трудился слесарем, что позволяло определять статус в графе происхождения как «рабочий» (а что могло быть лучше в системе социальных ценностей советского периода?), а не «служащий». Но документы свидетельствуют, что на самом деле Андрей Васильевич трудился конторщиком (или счетоводом) (см.: Поправко, 2017, с. 194), чему соответствовало и образование: «Окончил экстерном 4-х классное городское училище», а затем «9-ти месячные бухгалтерские курсы» (ЦАМО. Личное дело 003208. Л. 1 об.).

Революция дала Хрулёвым возможности подъёма по социальной лестнице. Павел стал членом Редкинского волостного ревкома (1919 г.), заведовал волостным земельным отделом и был членом Редкинского волостного исполкома (1920-е гг.), в 1930-е гг. возглавил колхоз (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 497350. Л. 1; Балес, 1970, с. 6; Балес, 2017, с. 14).

Михаил, начав советскую карьеру с должности начальника финансового отдела исполкома Пороховского района Петрограда, к 1938 г. занимал пост

заместителя председателя Мурманского окружного исполнительного комитета.

Андрей в июле 1918 – октябре 1919 гг. стал комендантом Революционной охраны (при преобразовании этого органа власти – начальником милиции) Пороховского района Петрограда, заместителем председателя Пороховского районного исполкома. Будучи призван в РККА в октябре 1919 г., сумел сделать карьеру, в 1919–1930 гг. служил на военно-политических должностях, а с 1930 г. занимал должности административно-хозяйственной службы, став генералом армии и заместителем Наркома обороны – начальником Тыла РККА, а после увольнения в запас – заместителем министра автомобильных и шоссейных дорог СССР, а потом заместителем министра промышленных строительных материалов СССР.

Женская часть семьи также отличалась социальным ростом в советский период. Например, сестра Евдокия работала инструктором Роменского комитета ВКП (б) в Черниговской области УССР (сейчас – г. Ромны Сумской области Украины), была замужем за начальником районного отделения НКВД (Архив УБСФ МО. Ф. 140. Оп. 3. Д. 1049/2. Л. 46 об.).

Таким образом, анализ документов разных лет показывает, что Хрулёвы были крепкими середняками, вели хозяйство, в котором кроме доходов от сельского труда (пашни, покоса) были и другие постоянные источники средств, что и формировало устойчивость хозяйства, и позволяло членам семьи постепенно богатеть. Революция дала возможность увеличить землевладение до 10 дес. на душу, а то, что двое из сыновей (Михаил и Андрей) не проживали вместе с семьёй, даже после выделения Павла из отцовского хозяйства, привело к наличию большого семейного надела. Хрулёвы были дружны (даже проживавшие отдельно поддерживали связи с семьей), что также повышало устойчивость хозяйства. Ряд членов семьи отличали лидерские качества, высокая амбициозность, стремление к подъёму по социальной лестнице, что подтверждается тем, что после революции они занимали руководящие должности разного уровня. Но реальный облик семьи в системе ценностей советской общества оказался «патологическим» и стал источником проблем для высокопоставленных членов.

Семья Хрулёвых в годы «Большого скачка» и «Большого террора»

Экономическое благополучие стало главным фактором стигматизации семьи для тех из Хрулёвых, кто успешно вписался в новые социальные условия, созданные революцией. Крепкое хозяйство, чем до революции можно было гордиться, теперь стало проблемой – грань между середняком и кулаком была довольно тонкой, стремление к экономическому процветанию (почву для которого дала нэповская политика) демонстрировать было опасно. С началом



в 1928 г. коллективизации появился еще один повод для стигматизации: вступили ли члены семьи в колхоз или нет? В случае неучастия в колхозном строительстве даже бедняка могли обозначить как «подкулачника», что становилось поводом для применения репрессий – административных выселений, поражения в правах и т. д.

Для сделавших карьеру в системе партийных и государственных должностей Хрулёвых семья в этот период становится источником проблем. В том числе и потому, что проживавшие в деревне не торопились вступать в колхоз. Дольше всех единоличником числился самый старший из братьев – Хрулёв Василий Васильевич (полный тёзка отца). На допросе в 1937 г. это указал в сведениях о членах семьи Михаил Васильевич Хрулёв (Архив УБСФ МО. Ф. 140. Оп. 3. Д. 1049/2. Л. 46).

Остальные Хрулёвы-селяне к тому времени уже вступили в колхоз. Возможно, поводом для этого шага послужила ситуация 1930 г.

В 1930 г. разгорелась настоящая «вендетта» с семьей Жаворонковых. Житель деревни Большая Александровка Молосковицкого района Василий Иванович Жаворонков обвинил семью Хрулёвых в использовании труда батраков. Согласно заявлению, отец В. В. Хрулёв и старший брат К. В. Васильев использовали в 1928 г. наёмный труд на сенокосе, на заготовке дров, а Кузьма Васильевич – ещё и в кузнице (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 512596. Л. 95). В ходе проверок и следствия решался вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 58 УК РСФСР.

Сын Жаворонкова Иван Васильевич занимал пост главы Молосковицкого районного исполкома и использовал служебное положение в интересах семьи. Сельская «война» велась и через средства массовой информации. Публикация в газете «Крестьянская правда» от 8 февраля 1930 г. с говорящим названием «Как Ленинградский ОкрФО [Окружное финансовое управление – Е. А. П.] защищает кулаков» обвинила М. В. Хрулёва (который в тот период возглавлял Ленинградский ОкрФО) в том, что он, пользуясь служебным и партийным положением, покрывает отца и братьев, помогает им уклоняться от налогов (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 512596. Л. 119).

Были инициированы прокурорская проверка (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 512596. Л. 117) и партийное расследование (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 558848/2. Л. 14). Проверка установила, что автором статьи в «Крестьянской правде» был И. В. Жаворонков, скрывавшийся под псевдонимом «Разузнавший» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 512596. Л. 113).

В заявлении М. В. Хрулева в Контрольную Комиссию Ленинградского Окружкома ВКП (б) от 17 апреля 1930 г., отмечалось, что Хрулёвых обвиняли в использовании «административного ресурса» всех уровней, в том числе упоминался и занимающий самое высокое положение член семьи – «брат Андрей» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 512596. Л. 160–164).

Отметим, что по данным местного земельного учета, Андрею Васильевичу Хрулёву по-прежнему (с 1918 г.) принадлежал земельный надел в хозяйстве его отца. Как заместитель начальника военно-политического управления Московского военного округа (на тот момент А. В. Хрулёв занимал именно эту должность) объяснил бы тот факт, что его родственники не участвуют в колхозном строительстве, да еще используют наёмный труд? Как смог бы доказать, что он не получает доходов от хозяйства отца? А если бы факты подтвердились, то получалось бы, что А. В. Хрулёв – кулак?

В 1930 г. семья Хрулёвых сумела оправдаться, в том числе благодаря тому, что в этом конфликте большинство односельчан приняло их сторону. В «Заключении по материалу проверки о злоупотреблениях Председателя Молосковицкого РИК'а Жаворонкова И. В.», датированном маем 1930 г., Хрулёвых признали середняками, для которых неправильно пытались применить обложение налогами как для кулаков (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 512596. Л. 112–116). Партийные же органы вынесли соломоново решение: «За нетактичное поведение, что создало склочную обстановку, тов. ХРУЛЁВУ [М. В. – Е. А. П.] и ЖАВОРОНКОВУ поставить на вид» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 512596. Л. 14).

Видимо, эта история заставила большинство Хрулёвых, проживавших в Большой Александровке, изменить свое отношение к коллективизации и вступить в колхоз. Из «горожан» серьезные проблемы возникли только у Михаила.

В 1937 г. семья снова стала источником проблем. 17 октября 1937 г. Михаил Васильевич Хрулёв был арестован органами НКВД, 29 октября 1937 г. его исключили из партии, а 29 сентября 1939 г. был вынесен приговор по ст. 58, п. 7 и 11 УК РСФСР – 5 лет исправительно-трудовых лагерей (Архив УФСБ по Мурманской области. Ф. 140. Оп. 3. Д. 1049/2. Л. 1, 9).

Это сразу же изменило статус всех Хрулёвых – «члены семьи изменника Родины», ЧСИРы. После ареста брата и ещё до вынесения тому приговора Андрей Васильевич получил своё единственное партийное взыскание: «строгий выговор с предупреждением за потерю политической бдительности, непринятие достаточных мер к ликвидации вредительства в строительном деле, за связь с врагами народа, за использование служебного положения в личных интересах, за неискренность перед парткомиссией» (ЦАМО. Личное дело 003208. Л. 9).

Судя по материалам личного дела А. В. Хрулёва, хранящегося в ЦАМО, взыскание сняли после реабилитации Михаила в октябре 1955 г. (Архив УФСБ по Мурманской области. Ф. 140. Оп. 3. Д. 1049/2. Л. 286; Книга памяти Мурманской области), т. к. в послужном списке 1962 г. в графе «имеет ли партийные (комсомольские) взыскания, за что, когда и кем наложены» проставлено «нет», хотя на последующих (более ранних) листах данные о взыскании в наличии (ЦАМО. Личное дело 003208. Л. 6).



Органы НКВД проявили существенный интерес к «брату Андрею»: из всех родственников М. В. Хрулёва (в том числе и со стороны супруги) именно начальнику строительно-квартирного управления РККА (занимал эту должность с августа 1936 по май 1938 г.) уделяли повышенное внимание (Архив УФСБ по Мурманской области. Ф. 140. Оп. 3. Д. 1049/2. Л. 46–46 об., 83–85).

В докладе И. В. Сталину от 31 марта 1938 г. со сводкой важнейших показаний арестованных по Главному управлению Госбезопасности НКВД СССР прямо указывалось на контрреволюционность А. В. Хрулёва и была сделана отметка «не арестован» (Хаустов, 2011, с. 213). О том, что Андрея Васильевича в ходе следствия называли контрреволюционером, свидетельствует и письмо в «Правду» О. Е. Хрулёвой – жены Михаила (Архив УФСБ по Мурманской области. Ф. 140. Оп. 3. Д. 1049/2. Л. 268–268 об.), которая пыталась бороться за оправдание мужа.

Судя по письму О. Е. Хрулёвой и полученному А. В. Хрулёвым взысканию, он пытался заступиться за брата, но потом самоустранился. Позиция самоустранения в личных ситуациях в конце 1930-х – 1940-е гг. стала отработанным алгоритмом. Так, в 1944 г. Исаак – брат Э. С. Горелик (жены А. В. Хрулёва) был освобождён из плена (куда попал в 1941 г.) и отправлен в фильтрационный лагерь НКВД. Узнав о попытках жены помочь брату, Андрей Васильевич «высказал недовольство ... и заявил, чтобы я не вмешивалась в дела брата, тем более что обстоятельства пленения и пребывания его в плену у финнов неизвестны» (Хаустов, Наумов & Плотникова, 2007, с. 157).

Последний по времени удар своему «верному сыну» советская система нанесла в 1948 г., когда была арестована жена – Эсфирь Самсоновна Горелик. Аналогичную стигму имели многие представители советской элиты – В. М. Молотов, М. И. Калинин и др. К «генералу, без которого не было бы Победы», Советская власть проявила снисхождение: Андрею Васильевичу не пришлось отречься от жены, голосовать за её исключение из партии, он не был с нею разведён, а их дети не прошли процедуру отречения от матери – «врага народа». Но в ходе следствия была предпринята очередная попытка получить данные о контрреволюционной деятельности А. В. Хрулёва или хотя бы о типичных для интенданта «грехах» – воровстве, коррупции (Хаустов, Наумов & Плотникова, 2007, с. 156–161).

В этих условиях Андрей Васильевич Хрулёв существенно сокращает контакты с семьёй, а также начинает в анкетных данных подчеркивать социально-приемлемые («нормальные») аспекты своей биографии: пролетарский этап в жизни отца, многодетность и бедность отцовской семьи, свою работу на заводе («заменив» реальную должность счетовода на социально более приемлемую «слесарь»), раннее вступление в революционный процесс (в 13 лет, а в 20 лет – уже административную ссылку) и именно на стороне большевиков, хотя и без формального членства в партии до марта 1918 г. Соединяясь с реальными данными – службой в I-й Конной армии и участием

в Гражданской войне, это создавало образ «верного сына партии и трудового народа», которому Советская власть дала всё. О том, что власть при этом отняла, говорить было не принято.

Выводы

Стигматизация семьи и реальных фактов собственной биографии были неотъемлемой частью социального роста и карьеры советского государственного или партийного деятеля, в том числе военной элиты. Примером такого рода стигматизации служит биография генерала армии Андрея Васильевича Хрулёва. Первоначально в анкетах и автобиографиях он называл семью отца середняцкой, но постепенно в угоду официальной идеологии в анкетах стал именовать ее бедняцкой. На первое место стал выдвигаться пролетарский опыт отца (работа на Путиловском заводе в Петербурге (Ленинграде) – «колыбели революции»). Миф дополнили данные о собственной работе на Охтенском заводе взрывчатых веществ (правда) в должности слесаря (ложь), что соответствовало представлениям о наличии только двух классовых вариантов: или эксплуататор, или трудящийся.

Но болезненное восприятие стигматизации семьи и реального себя проявляется в резко-отрицательном отношении генерала армии А. В. Хрулёва к репрессивной политике и к лицам, ее возглавлявшим и проводившим: Л. П. Берию, В. С. Аббакумову и особенно к Л. З. Мехлису – начальнику ГлавПУРа РККА (Хрулёв, 2017, с. 94–96, 115, 128–130); в убеждении, что «Большой террор» не был оправдан и нанёс стране (в том числе и её обороноспособности) огромный вред; в активном участии с 1949 г. в реабилитации военных кадров (об этом аспекте деятельности А. В. Хрулёва см.: Поправко, 2018, с. 150–154). Это становится своеобразным покаянием и расплатой за самоустранение, молчание в сложных для семьи ситуациях, болезненной отметкой, нанесённой стигматизацией семьи и себя самого.

Результатом стигматизации семьи стало также формирование официальной биографии идеального героя революции, полностью соответствующей идеологическому шаблону советского периода: бедняк-пролетарий – участник революции – доброволец Красной армии – участник Гражданской войны и герой легендарной I-й Конной армии – советский военачальник, участник Великой Отечественной войны – верный соратник И. В. Сталина. Этот миф заменил подлинную биографию с её сложностями и проблемами, сформировав типичную для советского человека зону отчуждения от собственного прошлого, преодоление которой оказалось для А. В. Хрулёва невозможным даже в период «оттепели».



Список литературы

- Goffman, E. (1986). *Stigma: Notes of the Management of Spoiled Identity*. Simon & Schuster Publ.
- Архив Управления Федеральной службы безопасности по Мурманской области [Архив УФСБ МО]. (б. д.). Ф. 140. Оп. 3. Д. 1049/2.
- Балес, А. Е. (1970). Герои-редкицы. *Сельская новь*, 3(749), 6.
- Балес, А. Е. (2017). *Земляки*. Волосово: Волосовская городская центральная библиотека. <https://ru.calameo.com/read/004087559016e8c6f48de>
- Дюркгейм, Э. (1966). Норма и патология. В *Социология преступности: (Современные буржуазные теории): Сборник статей* (с. 39–44). Прогресс.
- Карпов, В. В. (2004). *Генерал армии Хрулёв. Всё для Победы. Великий интендант*. Вече.
- Книга памяти Мурманской области: Поименный список репрессированных жителей Кольского полуострова, а также иностранных граждан, проживавших в Мурманской области. (б. д.). <http://visz.nlr.ru/person/book/murm/23/150>
- Костин, В. А. (1992). Аграрно-крестьянский вопрос в Петербургской губернии в конце XIX – начале XX вв., 1881–1905 гг. [Автореф. диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02].
- Марченко, А. Д. (2007). *Накопуть Хрулёв*. Вече.
- Поправко, Е. А. (2017). Ранний этап биографии А. В. Хрулёва по материалам ЦГА СПб и ЦГИА СПб. В Ю. А. Никитин & Е. А. Поправко (Ред.), *Выдающийся организатор материально-технического (тылового) обеспечения (к 125-летию со дня рождения генерала армии А. В. Хрулёва): Материалы межведомственной научно-практической конференции, 22 сентября 2017 года, Санкт-Петербург* (с. 190–195). ВАМТО.
- Поправко, Е. А. (2018). Деятельность А. В. Хрулёва по реабилитации военных руководителей, репрессированных в период «Большого террора». *Клио*, 1, 150–154.
- Ранк, О. (1997). Миф о рождении героя. Рефл-бук.
- Рожков, Н. А. (1925). *Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики: Т. Т. 11. Производственный капитализм и революционное движение в России второй половины XIX и начала XX века*. Издательское Товарищество «Книга».
- Рубакин, Н. А. (1893). Грамотность. В И. Е. Андреевский (Ред.), *Энциклопедический словарь: Т. 9 а. Гравилат–Давенант* (с. 537–549). Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон.
- Топоров, А. В. (2017). Нарком Хрулёв. В Ю. А. Никитин & Е. А. Поправко (Ред.), *Выдающийся организатор материально-технического (тылового) обеспечения (к 125-летию со дня рождения генерала армии А. В. Хрулёва): Материалы межведомственной научно-практической конференции, 22 сентября 2017 года, Санкт-Петербург* (с. 7–15). ВАМТО.
- Топоров, А. В., Аверьянов, Д. А., Кривошеев, В. Р., Сельменев, В. Н., & Носков, Г. Е. (2017). *Нарком Хрулёв Андрей Васильевич*. ООО «Р-КОПИ».
- Хаустов, В. Н. (2011). *Лубянка. Советская элита на сталинской голгофе. 1937–1938*. Архив Сталина: Документы и комментарии. МФД.
- Хаустов, В. Н., Наумов, В. П., & Плотнокова, Н. С. (2007). *Лубянка. Сталин и МГБ СССР. Март 1946 – март 1953: Документы высших органов партийной и государственной власти*. МФД: Материк.

- Хрулёв, А. В. (2017). *Записки интенданта. Неопубликованная рукопись*. ООО «Ректайм-Т».
- ЦГАИПД СПб. (б. д.-а). Ф. 1728. Оп. 1. Д. 512596.
- ЦГАИПД СПб. (б. д.-б). Ф. 1728. Оп. 1. Д. 558848/1.
- ЦГАИПД СПб. (б. д.-с). Ф. 1728. Оп. 1. Д. 558848/2.
- Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга [ЦГАИПД СПб]. (б. д.). Ф. 1728. Оп. 1. Д. 497350.
- Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации [ЦАМО]. (б. д.). Личное дело 003208.
- Шиян, И. С. (1980). *Генерал армии Хрулёв*. Воениздат.

References

- Archive of the Murmansk Oblast Administration of the Federal Security Service [Archive of the Murmansk Oblast Federal Security Service]. (n. d.). F. 140. In. 3. C. 1049/2. (In Russian).
- Bales, A. E. (1970). *Heroes-Redskins*. *Selskaya Nov*, 3(749), 6. (In Russian).
- Bales, A. E. (2017). *Countrymen*. Volosovo: Volosovo City Central Library.
<https://ru.calameo.com/read/004087559016e8c6f48de> (In Russian).
- Central Archive of Historical and Political Documents of St. Petersburg (n. d.-a). F. 1728. In. 1. C. 512596. (In Russian).
- Central Archive of Historical and Political Documents of St. Petersburg (n. d.-c). F. 1728. In. 1. C. 558848/2. (In Russian).
- Central Archive of Historical and Political Documents of St. Petersburg. (n. d.). F. 1728. In. 1. C. 497350. (In Russian).
- Central Archive of Historical and Political Documents of St. Petersburg (n. d.-b). F. 1728. In. 1. C. 558848/1. (In Russian).
- Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation. (n. d.). *Personal File* 003208. (In Russian).
- Durkheim, E. (1966). Norm and Pathology. In *The Sociology of Crime: (Contemporary Bourgeois Theories): A Collection of Articles* (pp. 39–44). Progress. (In Russian).
- Goffman, E. (1986). *Stigma: Notes of the Management of Spoiled Identity*. Simon & Schuster Publ.
- Haustov, V. N. (2011). *Lubyanka. The Soviet elite on Stalin's golgotha. 1937-1938. Stalin's Archive: Documents and Comments*. MFD. (In Russian).
- Haustov, V. N., Naumov, V. P., & Plotnikova, N. S. (2007). *Lubyanka. Stalin and the USSR MGB. March 1946 – March 1953: Documents from the highest organs of the party and state power*. MFD. (In Russian).
- Karpov, V. V. (2004). *Army General Khrulev. Everything for the Victory. The Great Intendant*. Veche. (In Russian).
- Khrulev, A. V. (2017). *Notes of the Intendant. Unpublished manuscript*. LLC Rektime-T. (In Russian).



- Kostin, V. A. (1992). *The Agrarian and Peasant Question in St. Petersburg Province in the Late 19th and Early 20th Centuries, 1881-1905*. [PhD Thesis]. (In Russian).
- Marchenko, A. D. (2007). *Nakomput Khrulev. Veche*. (In Russian).
- Murmansk Oblast Memory Book: List of Repressed Residents of the Kola Peninsula and Foreigners Residing in the Murmansk Oblast. (n. d.). <http://visz.nlr.ru/person/book/murm/23/150> (In Russian).
- Popravko, E. A. (2017). Early stage of A. Khrulev's biography. Khrulev's early biography according to the materials of the Central State Archive of St. Petersburg and the Central State Historical Archive of St. Petersburg. In Yu. A. Nikitin & E. A. Popravko (Eds.), *Outstanding organizer of material and technical (logistics) support (to the 125th anniversary of Army General A.V. Khrulev): Materials of the interdepartmental scientific and practical conference, September 22, 2017, St. Petersburg* (pp. 190–195). VAMTO. (In Russian).
- Popravko, E. A. (2018). A.V. Khrulev's Activities to Rehabilitate Military Leaders Repressed during the “Big Terror”. *Clio*, 1, 150–154. (In Russian).
- Rank, O. (1997). *The Myth of the Birth of a Hero*. Refl-book. (In Russian).
- Rozhkov, N. A. (1925). *Russian History in Comparative-Historical Light (Fundamentals of Social Dynamics: Vol. 11. Industrial Capitalism and Revolutionary Movement in Russia in the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries)*. Publishing Association “The Book”. (In Russian).
- Rubakin, N. A. (1893). Literacy. In I. E. Andreevsky (Ed.), *Encyclopedic Dictionary: Vol. 9 a. Gravitat-Davenant* (pp. 537–549). F. A. Brokgauz, I. A. Efron. (In Russian).
- Shiyan, I. S. (1980). *Army General Khrulev*. Voenizdat. (In Russian).
- Toporov, A. V. (2017). People's Commissar Khrulev. In Yu. A. Nikitin & E. A. Popravko (Eds.), *Outstanding organizer of material and technical (logistics) support (to the 125th anniversary of Army General A.V. Khrulev): Materials of the interdepartmental scientific and practical conference, September 22, 2017, St. Petersburg* (pp. 7–15). VAMTO. (In Russian).
- Toporov, A. V., Averyanov, D. A., Krivosheev, V. R., Selmenev, V. N., & Noskov, G. E. (2017). *People's Commissar Khrulev Andrei Vasilievich*. LLC R_KOPI. (In Russian).

Russia as a Significant Other in Latvian Regional Museums: New Mental Borders and Cultural Exclusion

Lidia S. Zhirnova

MGIMO University, Moscow, Russia. Email: [l.zhirnova\[at\]inno.mgimo.ru](mailto:l.zhirnova[at]inno.mgimo.ru)

Abstract

The collapse of the Soviet Union brought about a massive redefining of borders, formal as well as mental. Latvia was among those countries that needed to reshape their identity, and its elite opted for distancing the country from Russia and the Soviet past. The article studies how this approach is reflected in 32 local history museums around Latvia. Many of their collections were formed in the Soviet times, and now museums have to redescribe them in accordance with the new ideological framework of “two occupations”. The study presents an initial classification of museums according to their scope. The article highlights the underrepresentation of the Russian language in the texts of exhibitions despite a considerable share of the Russian-speaking population. The main connotations with Russia are singled out, the most emotional of them being the narrative of the “Soviet occupation” and deportations, that was excluded from the public discourse in the Soviet times, and now is re-actualized. Three strategies of dealing with the Soviet past within the framework of museums are described: leaving Soviet items without a consistent narrative, pushing this topic to the margins of the exhibition and rewriting the Soviet discourse in complete accordance with the new ideological framework.

Keywords

National Identity; Spatial Identity; Mental Border; Constructivism; Discourse Analysis; Museums; Latvia; Russia; USSR; Significant Other



This work is licensed under a [Creative Commons “Attribution” 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Россия как значимый Другой в латвийских региональных музеях: новые ментальные границы и культурное отчуждение

Жирнова Лидия Сергеевна

МГИМО МИД России. Москва, Россия. Email: l.zhirnova[at]jinno.mgimo.ru

Аннотация

Распад Советского Союза вызвал серьезное изменение границ, как формальных, так и ментальных. Латвия была одной из тех стран, которым пришлось переформулировать свою идентичность, и латвийская элита сделала ставку на дистанцирование от России и советского прошлого. В данной статье рассматривается воплощение этой стратегии в 32 краеведческих музеях по всей Латвии. Многие из их коллекций были сформированы в советское время, и теперь музеи должны переописать их в соответствии с новой идеологической рамкой «двух оккупаций». Исследование предлагает базовую классификацию музеев в соответствии с охватом их экспозиций. Подчеркивается недостаточная представленность русского языка в сопроводительных текстах с учётом значительной доли русскоязычного населения. Выделяются основные коннотации, связанные с Россией. Наиболее нагружены в эмоциональном плане описания «советской оккупации» и депортаций, которые в советский период исключались из общественного обсуждения, а теперь актуализированы. В статье описываются три стратегии рассказа о советском прошлом в региональных музеях: оставление предметов советской эпохи без последовательного нарратива, вытеснение этой тематики на периферию экспозиции и полное переописание дискурса об СССР в соответствии с новой идеологической рамкой.

Ключевые слова

национальная идентичность; пространственная идентичность; ментальная граница; конструктивизм; дискурс-анализ; музеи; Латвия; Россия; СССР; значимый Другой



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons “Attribution” \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Introduction

The collapse of the Soviet Union brought into existence new borders in Europe, formal as well as mental. It has taken decades to demarcate formal borders, and this task is far from completion. As for the mental borders between states and nations, their reshaping continues due to their increased flexibility.

All the above-mentioned is true for Latvia. After obtaining independence its elite chose a resolute Euro-Atlantic course and started shaping a new identity for the country based on alienating the Soviet past as well as contemporary Russia and striving to be an integral part of the Western community. Russia has become one of the main significant Others for Latvia, indispensable for forging a new understanding of what Latvia is. The demarcation of formal borders between the two countries was finished in 2017 (Latvia and Russia sign final documents..., 2017), but mental borders are still in motion, and the distancing from Russia is going on.

Historical narratives are central to this process, and history museums play a key role in preserving and promoting them. The discourse of “two occupations” – the Soviet and the Nazi German – has become prevalent in the Latvian public sphere, with the “Soviet occupation” considered worse as it lasted much longer (first from 1940 to 1941, then from 1945 to 1991) and had a lasting transformation impact on the society. This approach is most vividly reflected in the display of a special museum – Museum of the Occupation of Latvia – that was created in 1993 in order to consolidate and enrich the corresponding discourse (the emphasis on the “Soviet Occupation” can be witnessed both in the collection of the museum and on its website). The institution is private, but it is a key actor and a reference point in all the public discussion on this matter. For instance, it has become traditional for high-ranking officials and diplomats from other countries to visit the museum.

However, the focus of this study is not the Museum of the Occupation, but local history museums in various parts of the country. Most of their collections were gathered in the Soviet times and were initially arranged in accordance with the Soviet ideological settings. After the restoration of independence these museums faced the necessity to overcome the inertia of the collections, reshape their displays and reformulate the message of their exhibitions. The aim of the study is to describe the way Russia and the Soviet Union are represented in local history museums in Latvia, to define strategies employed by the museums in order to bring the display in line with the prevalent ideology and to assess how successful this transformation has been. For these purposes, 32 museums all around Latvia were visited in the years 2016-2017, their collections were studied, photographed, and later analyzed and compared.

The present study is a part of a more ambitious effort to assess the spatial positioning of Latvia. Studying local museums helps to define regional cleavages in understanding the place of Latvia in the world and the country's attitude



to the eastern neighbour, and further analysis of geopolitical caricatures in national newspapers is meant to highlight social cleavages in this regard (Zhirnova, 2021).

The topicality of this research lies in deepening the knowledge of the shaping of national identity as well as in clarifying how Russia is viewed in a neighbouring country with a large Russian-speaking population, which is important taking into account the Russian policy of supporting compatriots abroad.

Literature review

For many decades museums have attracted attention of researchers from various fields, primarily history and theories of culture. A specific discipline of museology started to form as early as in the end of the 19th century. The first *Journal of Museology and Antiquarianism as well as related sciences* [*Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunde sowie verwandte Wissenschaften*] was established in 1878 by J. G. T. Grässe, a famous German cultural historian and the director of the Green Vault in Dresden. In 1883, Johann Grässe published an article *Museology as a Science* [*Die Museologie als Fachwissenschaft*], where he stated that by that time museums in Europe had evolved from “cabinets of curiosities” to full-fledged institutions, so there was a need to study them in the framework of a separate discipline.

It was not easy for museology to overcome skepticism and to get rid of the label of a “Continental eccentricity” (Vinoš, 1995, p. 8). However, by the present moment it has evolved to cover a vast number of topics, starting from rather traditional research of the history of museums, their organization and social role, to interdisciplinary research of the way people interact with the surrounding reality through documenting and objectifying it (Popadić, 2020, p. 7). One can find extensive overviews of museological theory (Soares, 2019) as well as analysis of its development (Biedermann, 2016).

In Russia, museology has also been developing in many directions. The first comprehensive handbook on museology in Russia came into being in 2003 (Jureneva). It covers theoretical foundations of the discipline as well as the methods of the museum work. Elaborating on the philosophy of museology, M. Piotrovsky (2006, p. 7) claims that research and education in this sphere cannot be purely theoretical and should be closely linked to practice, that is, to functioning of modern museums. Some researchers focus on the history of museums; for instance, Gritskevich (2007) systemizes early history of museums in various parts of the world and overviews the historiography of museology. There is a number of applied research publications on various aspects of museology, for example, preservation and scientific description of archaeological collections (Vorobyova, 2019).

Within the framework of social sciences, museums represent invaluable material for identity studies. The notion of heterotopy (Greek, “different spaces”) is relevant in this regard. The term was introduced by French philosopher Paul-Michel Foucault in 1966-1967 to describe a vast variety of *topoi* that represent, challenge,

and renounce at the same time. As Foucault states in his essay “Of Other Spaces” (1967, p. 335), heterotopias are symbolically separated from other places and simultaneously can include objects from other spaces and times rewriting their meaning based on the rules of heterotopia itself. This notion can describe many various leeways including cemeteries, libraries, ships, bars, fairs – and museums. In case of museums the concept of heterotopia is of special interest, because here we deal with including evidence of various epochs and regions into one place and rewriting not just words, but the meaning of objects. As N. Rudenko proves (Rudenko, 2015), not only does heterotopia help to explain the functioning of a museum as a socio-cultural space, but also vice versa – the empirical study of museums allows to grasp an ambivalent nature of heterotopias through analyzing the process of redescribing attributes of things when they get into the museum space. Besides, heterotopia helps to underline the temporal aspect of museums that accumulate not just various spaces, but also time in the form of stories, memories, images and objects (Kulkina, 2018, p. 27).

The present article is devoted to the image of Russia as a significant Other in Latvian local history museum exhibitions. Political scientists took the concept of Other from sociology, particularly, symbolic interactionism that analyses the role of significant Others in the shaping of the self. In order to grasp the main idea behind the concept, one needs to get a basic understanding of how it developed in sociology. Mead (1965 [1934], p. 204) stated that “me” was created by social relationships and reflected the attitudes of others. Berger and Luckmann (1966, p. 170) view the development of the self as “a dialectic between identification by others and self-identification”. In this regard, significant Others play a key role in self-definition and reality maintenance, they are vital “for ongoing confirmation of that crucial element of reality we call identity”. Significant Others are named “principal agents”, whereas “less significant others” serve “as a sort of chorus” (Ibid.). Symbolic interactionists prioritize not objective structures, but subjective meaning created in the process of interaction with Others. Lately these ideas found application not only in self- and identity studies, but also in a number of adjacent fields including theories of culture, gender and status studies, research of collective behaviour and social movements as well as social context and the environment (Carter, Fuller, 2016).

Cultural and political geographers try to find out why there is a need for the Other and how it influences national identity. According to Eriksen, group identity is based not only on inner concord and shared culture, but also on opposing others. The researcher describes two regimes of identification – one based on we-hood and the other on us-hood. The latter is based on opposing an external agent – either a real or an imaginary adversary (Eriksen, 1995, p. 427). As a rule, a prevailing identity comes to the fore among a variety of identities. In case of Latvia the most important cleavage lies between Latvians and the Russian-speaking population, so ethnic variety is basically reduced to this binary scheme.



Another issue drawing the attention of the researchers is whether there is a way to shape a collective identity without the Other. Some believe that the relations with the Other need to be confrontational (Schmitt, 1996), others claim that there is no need for an antagonistic Other while forging a collective identity (Abizadeh, 2005, p.45). Abizadeh points out that the definition of the Other is always unclear and fluid, but when the Other is defined on a map as a region or a country, the vagueness partially goes away.

Johnson and Coleman (2012, p. 110) state that an internal Other can be as important as an external in forging national identity. In case of Latvia the antagonism with an external Other – Russia – is enhanced by the internal cleavage between the Latvian and the Russian-speaking population. These two Others are often connected in the Latvian public discourse: Russian-speaking population is depicted as a dangerous fifth column of Russia that does not want to integrate into Latvian society. In spatial terms, the region of “otherness” in Latvia is Latgale – a region with a large non-Latvian population that borders on Russia and Belarus. Riga is also often viewed as representing internal Other as most of its population speak Russian at home.

A number of studies view Latvian identity as the one based on countering Russia; consider, for example, the recent article by D. Kazarinova and N. Dunamalyan (2022) who classify post-Soviet national identities. Based on the analysis of memory and symbolic policy of post-Soviet states, they assign Latvia as well as other Baltic states, also Ukraine and Georgia to the group of those creating an anti-imperial, anti-Russian identity based on “returning into Europe”.

The present study is different from the previous works in this field because it focuses on the case of Latvia and bases research on the empirical data gathered from the local history museums around the country, which helps to define regional differences in representing the significant Other – Russia – and Latvia itself.

An interesting example of a similar approach – studying the image of Russia in the museums of a neighbouring country – is an article by E. Popravko (2019) based on the materials from Chinese museums. As it is in the present study, the representation of Russia is not separated from that of the USSR: in the Latvian public and historical discourse these two identities are also closely linked.

As far as analyzing museum displays is concerned, it is important to mention the theory of the Cultural Exclusion and Frontier Zones that focuses not on that which is said and shown, but on that which is silenced and left out of discourse (Ulrich, Troitsky, 2019, p. 245). In case of Latvia, the issue of silencing is of importance in two ways. On the one hand, in Soviet times when most of the collections of local history museums were formed, the topic of Soviet repressions and deportation was excluded from them despite the scale of these tragic events in the history of many Latvian families. Since independence was gained, these painful topics are re-actualized and brought to the fore in many museum displays. On the other hand, the Soviet era that was hailed in Soviet museums is now rewritten as

the “Soviet occupation”, and all the positive memories about that period are left out of the scope of museum exhibitions forming a new exclusion zone.

Methodology

The conceptual framework of this study is set by constructivism in nation-building and international relations. According to the constructivist paradigm, nations and nationalism that emerged in the nineteenth century appeared as a result of conscious construction (and sometimes fabrication) by governing classes, especially if we take Europe (Cahan, 2019, p. 479). The methodology is based on discourse analysis, where narratives are not only texts, but the whole display of the museum, including items and even setting of the exhibition. The idea behind discourse analysis is that the narrative is structured in accordance with certain patterns that need to be analyzed to understand the researched subject, in this case, the national identity (Jorgensen, Phillips, 2002, p. 1-2).

Museum exhibitions as an object of study have several peculiarities. They represent a very heterogeneous material for discourse analysis: not only texts, but also objects, pictures, maps. The overall set-up of the exhibition is important as well. Such a variety of materials makes it hard to codify and interpret them. Besides, museums differ by the size and the scope of their collections, which makes it difficult to bring them to one denominator. Another specific trait of the museums is their inertia: despite cardinal changes in the Latvian politics and nation-building in the early 1990s, many museums retained most of their collections gathered in the Soviet times and had to rewrite the meaning of many objects in accordance with the new political and social reality.

The material was gathered in local history museums in 32 cities and towns around Latvia: Aizkraukle, Aizpute, Aluksne, Balvi, Bauska, Valka, Valmiera, Ventspils, Viesīte, Vilaka, Gulbene, Daugavpils, Dobele, Jekabpils, Jelgava, Kraslava, Kuldīga, Liepāja, Limbaži, Madona, Mālpils, Ogrē, Rēzekne, Rundāle, Saldus, Talsi, Tervete, Tukums, Turaida, Cēsis, Jaunpils, Jūrmala. These museums were chosen because they focus on local history, not on art or some personality, and are situated in various regions all around Latvia, which helps to define regional differences in the representation of Russia.

Riga was left out of the scope of the study for a number of reasons. First, as a capital, it tends to represent the whole country, not just one city, which contradicts with the task of defining the regional differences. Secondly, it hosts a number of museums dealing with history including National History Museum, the National Museum of Natural History, the Ethnographic Museum, the Museum of Occupation, and the Museum of the History of Riga and Navigation (the latter puts an emphasis on the history of shipping and the development of Riga and Latvia in this regard). Such a concentration of history museums and the scale of their collections makes it difficult to define the discourse specific for Riga).

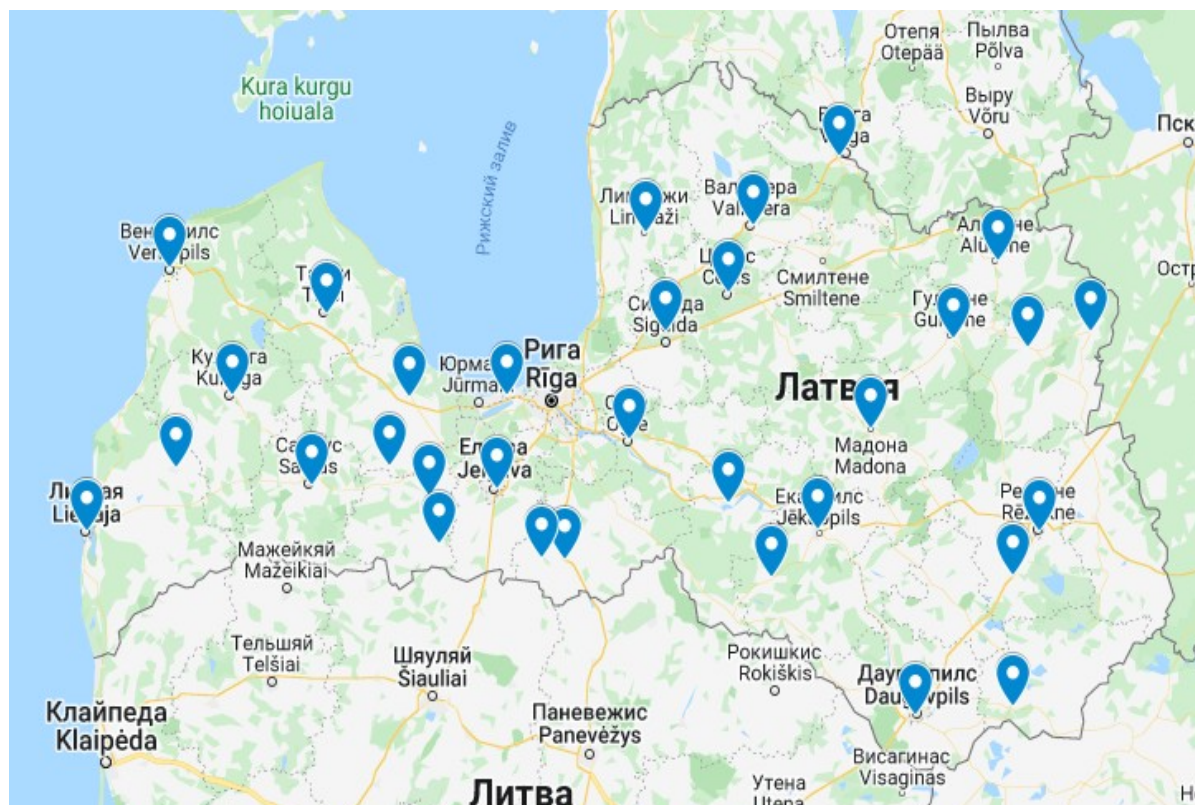


Fig. 1. Regional history museums analysed in the present article. Google Maps Screenshot.

Latvian museums were visited and photographed in 2016-2017, so the study captures the content of exhibitions for that point in time. Museum displays were analyzed to define the main contexts of mentioning Russia (the USSR, the Russian Empire) and describe its overall representation. The present article focuses on the initial analysis of the classification of the museums based on their content and scale, the analysis of the languages of the exhibitions and the main topics associated with Russia. Three cases representing three various strategies of dealing with the Soviet past are discussed more closely: that is the Balvi Regional Museum, the Aizkraukle History and Art Museum and the Liepaja Museum.

Local history museums: topics, languages and the representation of Russia

Most of the studied museums (21 out of 32) present a multifaceted exhibition covering many epochs and spheres of social, political and economic life. Such kind of approach based on a chronological tale of the local history was typical of Soviet museums, and it still prevails. However, it is possible to single out other key topics that are either combined with or substitute with a multifaceted chronological report. Many museums (namely, 9) explain local history through personal history, for example, that of the family who owned the corresponding estate (as in Gulbene), or focusing on key events of a person's life (christening, confirmation, wedding, burial) and the traditions around those in various epochs (as in Kuldiga).

Some museums (5) offer an exhibition concerning the ethnic history of the region; the main display in Kraslava, for instance, is built around five main ethnic groups living there, and in Turaida visitors can find a separate and rather extensive exhibition on livs. Four of the studied museums are based on romanticizing the traditional life of Latvians, among them a museum in Tervete. In four cases the exhibition is built around a certain aspect of the life of the city, for instance, in Jurmala it is the development of the resort and in Madona – the stories of the main buildings. Finally, three museums focus on the industrial history of the town, for instance, the vivid tail of the narrow-gauge railroad is the heart of the exhibition on Viesīte.

The attitude to Russia and the desire to distance from the Soviet past is reflected in the usage of languages for the texts accompanying exhibitions. The most widespread language of such texts after Latvian is English, despite the fact that Russian is the mother tongue of one third of the permanent inhabitants of Latvia. That shows that some exhibitions are more suited to the needs of English-speaking tourists than of Russian-speaking locals (or Russian-speaking tourists that had been numerous prior to the pandemic). At the same time, exhibit items in Russian, such as documents, money, maps, can be found in almost every museum, and they represent not only the Soviet period, but also the times of the Russian Empire. That creates a curious paradox, when a visitor sees many items with Russian words, but can read about them only in Latvian or in English. As for exhibit items in English, they are quite rare.

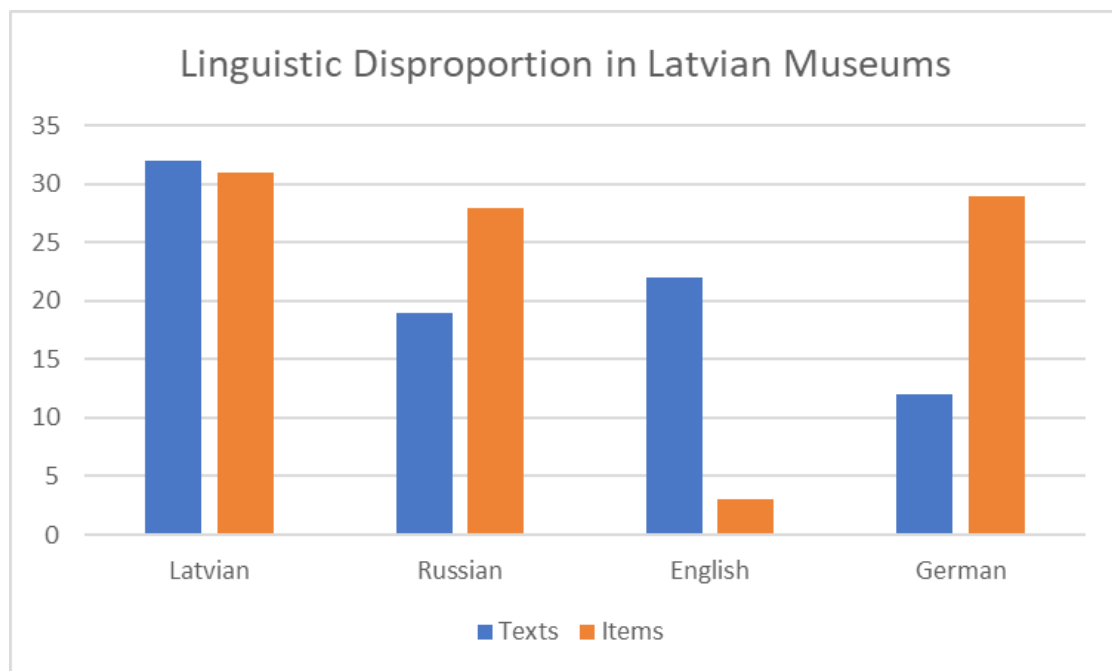


Fig. 2. Linguistic disproportion between texts and exhibit items in Latvian local history museums



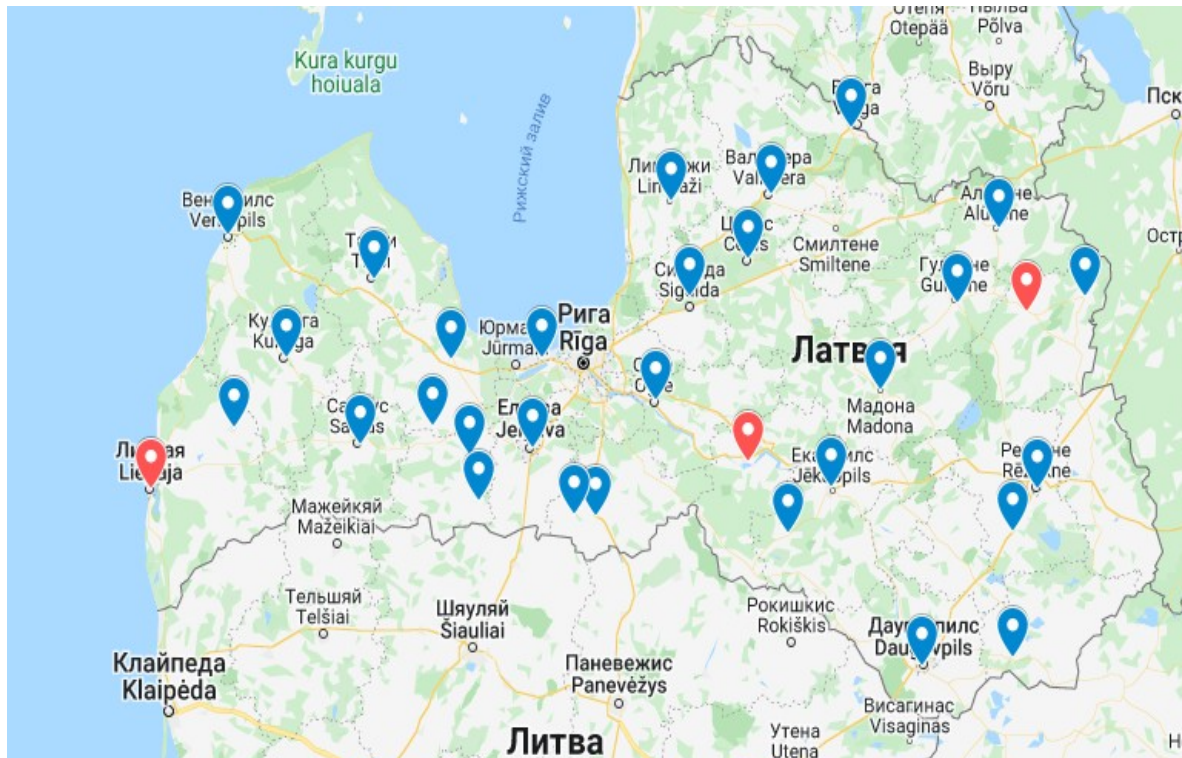
Russia is mentioned in almost every museum, which is not surprising given close ties since the early ages and the fact that Latvia was a part of the Russian Empire and then the Soviet Union. As for the main connotations in which Russia is mentioned, the most widespread context concerns the questions of administration, for instance, of how the town was governed in the Russian empire. The second most common connotation is war, including medieval wars such as the Livonian war and more recent World War I and II. The display of money and symbols of the Russian Empire and the USSR is quite common. A number of museums emphasize the role of the Eastern neighbour as the trade partner. In case of the Russian Empire, several exhibitions show how Latvians went to Saint Petersburg and other Russian cities in pursuit of a career. In case of the Soviet Union, many displays tell about industrialization.

However, the most emotional (although not omnipresent) representations of Russia are connected with the “Soviet occupation” and the deportations in 1941 and 1949. It has to do with the fact that, for decades, these tragic events remained in the cultural exclusion zone, were silenced and stigmatized. After the independence obtained, the situation inverted: positive memories about the Soviet past were stigmatized, whereas memories of deportations and repressions were not just allowed, but brought to the fore and became the mainstream in the discourse about the Soviet past. That is reflected in local history museums as well.

Case Studies: Aizkraukle, Balvi, Liepaja

In order to illustrate the abovementioned theses, let us examine three cases more closely: the Aizkraukle History and Art Museum, the Balvi Regional Museum and the Liepaja Museum. These museums are chosen because they are situated in different parts of Latvia and represent different strategies in dealing with the Soviet legacy. Besides, all three cities remained regional centers after the 2021 administrative territorial reform that considerably reduced the number of the municipalities of the first order.

Aizkraukle is a regional center in Vidzeme, in the middle of Latvia. Although people have lived in this area since ancient times, the modern city came into being only in the Soviet times, in 1967, when Plavinas Hydroelectric Power Plant was built. The city was initially named after Soviet and Latvian politician Peteris Stucka, who was the head of the first Soviet Latvian government back in 1918-1920. That means that, after the independence gained, museum had to distance itself not just from the Soviet past, but from the era that brought the city into being.



**Fig. 3. Museums for the case study (from left to right):
Liepāja, Aizkraukle, Balvi. Google Maps Screenshot**

The contradiction between the initial collection of the museum and a new political reality was reflected in the display a visitor could view in 2017. One part of the exposition was devoted to the pre-industrial past which was considerably romanticized. The display gave a detailed depiction of architectural values and magnificent landscapes ruined by the building of the Plavinas Hydroelectric Power Plant, the largest in the Baltic states. The exhibition is introduced by the text emphasizing the key role of Daugava for Latvians and their destiny and the dramatic changes of the 20th century when many elements of the cultural and natural heritage were eliminated.

The second part of the exhibition was devoted to the Soviet period and was much less consistent. It included many items of the epoch with short explanations: personal belongings, documents, photos, products, instruments of the builders of the power plant – things showing the course of industrialization and daily routine of the Soviet people. However, it lacked conclusive narrative. There was no mentioning of the “Soviet occupation” or deportation. All in all, the contradiction between the two parts of the exhibition created tension, as the process of re-description of the Soviet items was far from over. This is a typical situation for many museums, when Soviet exhibit items are left in the narrative limbo. Nowadays, the museum in Aizkraukle has expanded and the Soviet exposition has been moved to a separate building.



The Balvi Regional Museum represents another strategy of redescribing the Soviet past. Balvi is a city in Latgale not far from the Russian border. Latgale is an internal Other for Latvia, a region that is culturally, ethnically, religiously distinct and is often deemed disloyal and economically backward.

The museum in Balvi has been recently rebuilt and upgraded with the use of modern technologies. The logic of the exposition is built not around chronological tale of the past, but around various traditional arts such as singing, dancing, embroidery. The narrative is based on the romantization of traditional culture and the creative potential of Latvian people. History of the Soviet period is told in accordance with the “occupation” narrative with special emphasis on national guerilla fighters that were active in the region till 1950s. The exposition includes regrets about the loss of Abrene (modern Pytalovo), the city transferred to Soviet Russia in 1944. However, the representation of the Soviet period is not exclusively hostile. For instance, part of the exposition is devoted to the personal history of honorary citizens, including those who acquired this title in the Soviet times for the fight against Nazis in World War II. To sum up, Balvi is an example of pushing the historical narrative to the margins of the exposition and focusing on some other issues, such as traditional culture.

The third strategy is represented by Liepaja Museum, the largest museum in Kurzeme. Here the tale of the Soviet Latvia is represented in a separate building under the title “Liepaja under Occupation Regimes”. This department functions under the auspice of the Latvian SS Legion veterans’ organization Daugavas vanagi, the Soviet Army veterans’ organization Latvian Riflemen Union and the Liepaja Club of Political Repression Victims. The exhibition is set up in accordance with the doctrine of “two occupations”, and more attention is paid to the “Soviet occupation” that is viewed as a period of violence and devaluation of basic human values. Much is told about deportations and the tough life in GULAG, about the fight of national guerilla, coercive collectivization and eventual movement for the restoration of independence (Atmoda). The Liepaja Museum shows the strategy of redescribing the past to the maximum.

Conclusion

The study presents an initial classification of local history museums and highlights three strategies of redefining the Soviet past in local history museums: leaving Soviet items without a consistent narrative (Aizkraukle), setting out a new ideological framework while pushing the Soviet period out of the scope of attention (Balvi) and thoroughly inverting the discourse in accordance with the official narrative (Liepaja). The second strategy seems highly likely to prevail, because with each reconstruction exhibitions will distance themselves from the Soviet standards and narratives. Numerous museums telling of occupation, as in Liepaja, are unlikely to appear due to the lack of funding in many cultural institutions at the local level.

The research also points out the linguistic imbalance of expositions, as Russian language in accompanying texts is underrepresented both in comparison with the proportion of the Russian-speaking population (and formerly tourists) and the representation of the Russian language in exhibit items. However, under contemporary geopolitical circumstances the increase in the amount of information in Russian seems highly improbable.

The future of the research lies in providing a more thorough classification of museums and a detailed description of the representation of Russia in them. Afterwards it is planned to compare the results with those acquired from other sets of data such as geopolitical cartoons in national newspapers.

Acknowledgment

The research has been funded by the Russian Science Foundation grant No. 19-78-10004 “Transformations of electoral behavior in the regions of foreign countries bordering on the Russian Federation: a comparative spatial analysis”.

References

- Abizadeh, A. (2005). Does collective identity presuppose an other? On the alleged incoherence of global solidarity. *American Political Science Review*, 99(1), 45–60.
<https://doi.org/10.1017/S0003055405051488>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books.
- Biedermann, B. (2016). The theory of museology: Museology as it is – defined by two pioneers: Zbyněk Z. Stránský and Friedrich Waidacher. *Museologica Brunensia*, 2, 51–64.
<https://doi.org/10.5817/MuB2016-2-6>
- Cahan, J. A. (2019). National identity and the limits of constructivism in international relations theory: A case study of the Suez Canal. *Nations and Nationalism*, 25(2), 478–498.
<https://doi.org/10.1111/nana.12423>
- Carter, M. J., & Fuller, C. (1966). Symbols, Meaning, and Action: The Past, Present, and Future of Symbolic Interactionism. *Current Sociology*, 64(6), 931–961.
<https://doi.org/10.1177/0011392116638396>
- Eriksen, T. H. (1995). We and us: Two modes of group identification. *Journal of Peace Research*, 32(4), 427–436. <https://doi.org/10.1177/0022343395032004004>
- Foucault, M. (1997). Of other spaces: Utopias and heterotopias. In N. Leach (Ed.), *Rethinking architecture: A reader in cultural theory* (pp. 330–337). Routledge.
- Grässe, J. G. T. (1878). *Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunde sowie verwandte Wissenschaften*. <http://archive.org/details/zeitschriftfurmu58gras>
- Grässe, J. G. T. (1883). Die Museologie als Fachwissenschaft. *Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunde sowie verwandte Wissenschaften*, 15.
<https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/103236/28>



- Gritskevich, V. P. (2007). *History of museum activities at the end of the 18th – beginning of the 20th centuries..* St. Petersburg State University of Culture and Arts. (In Russian).
- Johnson, K., & Coleman, A. (2012). The Inner Other: Dialectical Relationships between the Construction of Regional and National Identities. *Cultural and Humanitarian Geography*, 1(2). <https://gumgeo.ru/index.php/gumgeo/article/view/56> (In Russian).
- Jørgensen, M., & Phillips, L. J. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781849208871>
- Kazarinova, D. B., & Dunamalyan, N. A. (2022). Post-Soviet Identities Trajectories: Approaches, Models, Trends. *Political Science*, 1, 52–79. <https://doi.org/10.31249/poln/2022.01.02> (In Russian).
- Kulkina, V. M. (2018). Heterotopia as a way to space analyze. (Review). *Social Sciences and Humanities. National and Foreign Literature. Ser. 7, Literary Studies: Abstract Journal.*, 2, 21–28. (In Russian).
- Latvia and Russia sign final documents on border demarcation. (2017). <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4676634> (In Russian).
- Latvian is the mother tongue of 60,8 % of the inhabitants of Latvija. (2019). <https://lvportals.lv/dienaskartiba/306714-608-latvijas-iedzivotaju-dzimta-valoda-ir-latviesu-2019>
- Latvijas Okupācijas Muzejs. (n.d.). History. <https://okupacijasmuzejs.lv/en/history/1-soviet-occupation/>
- Mead, G. H. (1965). *Mind, Self and Society*. University of Chicago Press.
- Piotrovsky, M. B. (2006). Philosophy of Museum Business. *Herald of St. Petersburg State University*, 1, 7–10. (In Russian).
- Popadić, M. (2020). The beginnings of museology. *Muzeológia a Kultúrne Dedičstvo*, 5–16. <https://doi.org/10.46284/mkd.2020.8.2.1>
- Popravko, E. (2019). The Representation of Russia (USSR) in the Expositions of Chinese Museums. *Journal of Frontier Studies*, 4(2), 346–362. <https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10040> (In Russian).
- Rudenko, N. I. (2005). Heterotopia as Overwriting: Museum Exhibits, Networks, and Practices. *The Sociology of Power*, 1, 181–195. (In Russian).
- Schmitt, C. (1996). *The concept of the political*. University of Chicago Press.
- Sofka, V. (1995). *My adventurous life with ICOFOM, museology, museologists and anti-museologists, giving special reference to ICOFOM Study Series*. ICOFOM.
- Ulrich, P., & Troitsky, S. (2019). The Complexity of «Borders»: Research Agendas, Terminology and Classification. *Journal of Frontier Studies*, 4(2), 234–256. <https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10035> (In Russian).
- Yureneva, T. Yu. (2004). *Museology: Textbook for High School*. Academic Project. (In Russian).
- Zhirnova, L. S. (2021). Russia and Other Significant Others in Latvian Caricatures. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 3(3), 199–212. <https://doi.org/10.46539/gmd.v3i3.196>

Список литературы

- Abizadeh, A. (2005). Does collective identity presuppose an other? On the alleged incoherence of global solidarity. *American Political Science Review*, 99(1), 45–60.
<https://doi.org/10.1017/S0003055405051488>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books.
- Biedermann, B. (2016). The theory of museology: Museology as it is – defined by two pioneers: Zbyněk Z. Stránský and Friedrich Waidacher. *Museologica Brunensia*, 2, 51–64.
<https://doi.org/10.5817/MuB2016-2-6>
- Cahan, J. A. (2019). National identity and the limits of constructivism in international relations theory: A case study of the Suez Canal. *Nations and Nationalism*, 25(2), 478–498.
<https://doi.org/10.1111/nana.12423>
- Carter, M. J., & Fuller, C. (1966). Symbols, Meaning, and Action: The Past, Present, and Future of Symbolic Interactionism. *Current Sociology*, 64(6), 931–961.
<https://doi.org/10.1177/0011392116638396>
- Eriksen, T. H. (1995). We and us: Two modes of group identification. *Journal of Peace Research*, 32(4), 427–436. <https://doi.org/10.1177/0022343395032004004>
- Foucault, M. (1997). Of other spaces: Utopias and heterotopias. In N. Leach (Ed.), *Rethinking architecture: A reader in cultural theory* (pp. 330–337). Routledge.
- Grässe, J. G. T. (1878). *Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunde sowie verwandte Wissenschaften*. <http://archive.org/details/zeitschriftfurm58gras>
- Grässe, J. G. T. (1883). Die Museologie als Fachwissenschaft. *Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunde sowie verwandte Wissenschaften*, 15.
<https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/103236/28>
- Jørgensen, M., & Phillips, L. J. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. SAGE Publications Ltd.
<https://doi.org/10.4135/9781849208871>
- Latvian is the mother tongue of 60,8 % of the inhabitants of Latvija. (2019).
<https://lvportals.lv/dienaskartiba/306714-608-latvijas-iedzivotaju-dzimta-valoda-ir-latviesu-2019>
- Latvijas Okupācijas Muzejs. (n.d.). History. <https://okupacijasmuzejs.lv/en/history/1-soviet-occupation/>
- Mead, G. H. (1965). *Mind, Self and Society*. University of Chicago Press.
- Popadić, M. (2020). The beginnings of museology. *Muzeológia a Kultúrne Dedičstvo*, 5–16.
<https://doi.org/10.46284/mkd.2020.8.2.1>
- Schmitt, C. (1996). *The concept of the political*. University of Chicago Press.
- Sofka, V. (1995). *My adventurous life with ICOFOM, museology, museologists and anti-museologists, giving special reference to ICOFOM Study Series*. ICOFOM.
- Zhirnova, L. S. (2021). Russia and Other Significant Others in Latvian Caricatures. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 3(3), 199–212. <https://doi.org/10.46539/gmd.v3i3.196>



- Грицкевич, В. П. (2007). *История музейного дела конца XVIII – начала XX вв.* Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
- Джонсон, К., & Коулман, А. (2012). Внутренний «Другой»: Диалектические взаимосвязи между конструированием региональных и национальных идентичностей. *Культурная и гуманитарная география*, 1(2). <https://gumgeo.ru/index.php/gumgeo/article/view/56>
- Казаринова, Д. Б., & Дунамалян, Н. А. (2022). Траектории развития постсоветских идентичностей: Подходы, модели, тенденции. *Политическая наука*, 1, 52–79. <https://doi.org/10.31249/poln/2022.01.02>
- Кулькина, В. М. (2018). Гетеротопия как способ анализа пространства. (Обзор). *Социальные и Гуманитарные Науки. Отечественная и Зарубежная Литература. Сер. 7, Литературоведение: Реферативный Журнал*, 2, 21–28.
- Латвия и Россия подписали итоговые документы по демаркации границы. (2017). <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4676634>
- Пиотровский, М. Б. (2006). Философия музейного дела. *Вестник СПбГУ*, 1, 7–10.
- Поправко, Е. (2019). Образ России (СССР) в экспозициях китайских музеев. *Журнал Фронтирных Исследований*, 4(2), 346–362. <https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10040>
- Руденко, Н. И. (2005). Гетеротопия как переописание: Музейные экспонаты, сети и практики. *Социология власти*, 1, 181–195.
- Ульрих, П., & Троицкий, С. (2019). Сложность «границ»: Постановка проблемы, терминология и классификация. *Журнал Фронтирных Исследований*, 4(2), 234–256. <https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10035>
- Юренева, Т. Ю. (2004). *Музееведение: Учебник для высшей школы.* Академический Проект.

The Caspian Sea as Intertext: from the Old Russian Literary Tradition to Modern Mass Media (Reception, Concepts, Emotions)

**Irina N. Krutova¹ (a), Dmitry M. Bychkov² (b)
Giulnara M. Bilialova³ (a) & Olga N. Parshina⁴ (b)**

(a) Moscow City University. Moscow, Russia

(b) Astrakhan State Technical University. Astrakhan, Russia

Abstract

The article reveals cognitive and discursive potential of the Caspian Sea portrayal in the Russian literary tradition and modern Internet journalism. The research is based on individual works of Russian writers written in different genres, as well as works of domestic journalists, representing an unconventional reception of the picture of the world framed around the Caspian Sea. The paper draws conclusions about the ambivalent meaning of the image of the Caspian Sea, its mythological semantics; it shows the intertextual nature of the image of the Caspian Sea which generates ideas relevant for the author's reality; it defines the main constitutive concepts creating the worldview characteristic of the Caspian region; and it reveals the spectrum of emotions expressing the individual author's perception of the image of the Caspian Sea.

Keywords

Caspian Sea; Intertextuality; Art Space; Worldview; Reception; Concepts; Emotiveness



This work is licensed under a [Creative Commons "Attribution" 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

-
- 1 Email: dartsk@mail.ru
 - 2 Email: dmitriybychkov@list.ru
 - 3 Email: gyulnarabilyalova@yandex.ru
 - 4 Email: olga_parshina@list.ru



Каспий как интертекст: от древнерусской литературной традиции к современным массмедиа (рецепция, концепты, эмоции)

Крутова Ирина Николаевна¹ (а), Бычков Дмитрий Михайлович² (б)
Билялова Гюльнара Максutowна³ (а) & Паршина Ольга Николаевна⁴ (б)

(а) Московский городской педагогический университет. Москва, Россия

(б) Астраханский государственный технический университет. Астрахань, Россия

Аннотация

Статья раскрывает когнитивно-дискурсивный потенциал художественного образа Каспийского моря в русской литературной традиции и современной интернет-публицистике. Материалом для исследования послужили отдельные произведения русских писателей, написанные в различных жанрах, а также произведения отечественных журналистов, представляющие неординарную рецепцию картины мира, оформленную вокруг Каспийского моря. В работе сделаны выводы об амбивалентном значении образа Каспия, его мифологической семантике; показана интертекстуальная природа образа Каспийского моря, порождающего актуальные для авторской реальности смыслы; обозначены основные конституентные концепты, создающие картину мира Каспийского региона; выявлен спектр эмоций, выражающих индивидуально-авторскую рецепцию образа Каспия.

Ключевые слова

Каспийское море; интертекстуальность; художественное пространство; мировоззрение; рецепция; концепты; эмотивность



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons “Attribution” \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1 Email: [dartsk\[at\]mail.ru](mailto:dartsk[at]mail.ru)

2 Email: [dmitriybychkov\[at\]list.ru](mailto:dmitriybychkov[at]list.ru)

3 Email: [gyulnarabilyalova\[at\]yandex.ru](mailto:gyulnarabilyalova[at]yandex.ru)

4 Email: [olga_parshina\[at\]list.ru](mailto:olga_parshina[at]list.ru)

Philological Approaches to the Study of the Image of the Caspian Sea

One of the research priorities in the modern philological science is the study of spaces, represented in the texts of different genres (Enikeev, 2019). Spatial realities act as generators of peculiar supertexts, concentrated around specific topoi, intertextually linked by virtue of typological commonality (Menchikov, 2020). The Caspian Sea can definitely be considered such topos, as it unites a vast region from Astrakhan to Iran in a single supertext. Active interest in the study of space arose in the late 19th century in Western European humanities (Mahovich, 2020; Prasolova & Haustova, 2020).

The History of the Philological Study of Artistic Space

The study of real space is due to the intensive development of urbanism. Initially associated with the physical image of the city including its unique architecture, the perception of space over time had become more complex in connection with the appeal to the symbolism of the topos, its semiotics, intertextuality, and thus attracted the interest of many representatives of humanities (Tanina et al., 2020).

At the turn of the XIX-XX centuries, thus, there were changes in perception of the image of space and its definition as one of the concept-forming vector notions in the system of spatial coordinates of civilization in general and human life in particular.

The works by R. Barthes became the most important theoretical and methodological reference point for the study of the space phenomenon. The French semiotician introduced the notion of textual codes, significant for philology, that were interpreted as structure-forming and sense-forming elements of an urban text which included certain dominants and connotations constituting a work of fiction (Ladov, 2010).

Russian literary criticism of the 20th century produced a fairly extensive number of scientific studies covering various aspects of the study of urban space, like foreign scholarship did: from general theoretical positions ("The Image of the City in Culture: Metaphysical and Mystical Aspects" by S. Gurin and others) to specific loci ("Facts and Myth of St.Petersburg" by N. Antsiferov, "St.Petersburg's Text of Russian Literature" by V. Toporov, "St.Petersburg's Symbolism and the Problems of the City's Semiotics" by Y. Lotman etc.) (Toporov, 1995).

Supertext as Cultural Reality

The emergence of a large number of scientific works on the intertextual nature of space is characterized by the ambivalence of the image. On the one hand, it allows for a spectral consideration of the image of space. Thus, domestic litera-



ture studies specify the diversity of the concept of space: some scientists (M. Grebneva) characterize its local features; some specify its provinciality (N. Detkova); others consider space in the framework of hypertext with its inherent generality, heterogeneity, complexity, antinomy, spatial fixation and the ability to generate new texts (Y. Lotman, V. Toporov, M. Vizel). There are a number of works defining space as the basis of the supertext (N. Mednis, N. Kupina, G. Bitenskaya) (Petrova, 2012).

Under the supertext of the Caspian region we understand a set of statements, limited locally and in time, united through contents and situation, characterized by an integral modal setting, quite certain positions of the addresser, with special criteria of traditional / creative; realistic / symbolic. In this regard, the concepts of “local text”, “supertext” and “hypertext” are generic in relation to the term “artistic space” (Rotmistrova, 2010).

The Artistic Concept of the Caspian Sea in the Russian Literature

Space is a fundamental concept of everyday life and scientific knowledge. The diversity of understanding of the phenomenon of space extends from the geographical order to typological spaces (including artistic space), ethnic fields, creative myth and geopoetics.

Geographical space has become one of the important fragments of the artistic world-image representing a verbally fixed scheme of perception, conceptualization and systematization of reality which is a verbalized representation of the geographical data. As a fundamental category of philosophy, sociology, natural science, ethnopsychology and other sciences, space is a relevant object of linguistic research: “Space is one of the first realities of being that is perceived and differentiated by man. It is organized around man putting themselves in the centre of macro- and microcosm.” (Lotman, 2000).

According to many thinkers (historians, culture experts, philosophers, literary scholars, writers, linguists), the so-called “geographical factor” strongly determines the culture, psychology and mentality of an ethnos. Y. Lotman, exploring the concept “geographical space” introduced by himself, wrote about geographical space belonging to one of the forms of spatial construction of the world in human consciousness, about its close connection with the common world-image: “Having emerged in certain historical conditions, it (geographical space) gets different contours, depending on the nature of general models of the world, which it is a part of” (Lotman, 2000).

Thus, the artistic concept of the Caspian Sea in the focus of modern scientific ideas is a complex of images, motifs, stories which embodies the author's model of the real image of the sea as a specific cultural phenomenon (Pritchins, 2021).

The Generative Potential of the Image of the Caspian Sea in the Literary Discourse

The first source of quite yet unspecific ideas about the Caspian Sea was “the Tale of Bygone Years” by the monk Nestor: “There flows the Volga to the East and falls through seventy mouths into the sea of Khvalis. Therefore, from Rus, one can sail along the Volga to the Bulgarians and the Khvalis, and travel eastwards to Sim’s inheritance” (Author’s translation). As one can see from the cited quotation, the course of the Volga in the reception of the scribe is equated to the unit of oriental interpretation, the geographical image of the Volga reveals the outer world of Sim – the son of biblical Noah to the ancient Russian author. The delta of the Volga is thus mythologized, revealing the world of the mysterious East to the medieval man.

Personal involvement with the Caspian Sea and concretization of the image became possible in the era of geographical discoveries. The Volga Lowlands and the Caspian Sea were displayed in a famous literary landmark – “A Journey Beyond the Three Seas” by Athanasius Nikitin. This work is not only the most important historical document, but also fascinating reading for all those who have dreamt of travelling. At the beginning of the reading process of this literary landmark, the medieval reader was carried away to the lower Volga region which in those distant times was still wild and dangerous, where a possible robbery awaited the caravan of ships. The delta and the Caspian Sea appear in “A Journey Beyond the Three Seas” in the amalgam of the following intentions: the lowland as a direction leading to danger; foreignness of the population; the border of Orthodox Russia; the space of the Muslim world; an imperative for the behaviour of the local population, etc. The semantics of the Caspian image is enriched with the meaning of other-worldliness. The mysterious East turns out to be hostile.

By the middle of the 17th century, the Volga-Caspian waterway and Astrakhan as one of its imminent points, having a favourable geographical location, had been one of the new routes of pilgrimages to the Christian East and merchant crossings to Asian countries. In the geographical consciousness of those setting out on a long journey, Astrakhan and the Volga delta had always been a place for temporary stay. In the symbolic perception of space, the image of Astrakhan corresponded with the notion of the border and was a point of cognitive transition between antinomic worlds – Christianity and Islam, West and East, holiness and sin – which naturally determined a change in the travellers’ discursive behaviour, enrichment of their perceptions, generation of associations and cognitive metaphors.

In the world model, the “Russian land” became similar to home as an ordered, mastered space, while the area or territory of foreign countries was correlated in the perception of travellers with the notion of “chaos”. In such a symbolic model of the world, Astrakhan was considered a “boundary” territory, a unique topos between “cosmos” and “chaos”.



In crisis-related historical moments in understanding the geographical symbolism of the location of Russian cities, the idea that through a city located on the border, such as Astrakhan, the malicious forces of “chaos” could penetrate, was most visibly actualized. It was with this apocalyptic attitude that Moscow residents expected the return of Stepan Razin from Persia. In accordance with such an ingrained notion, residents of Moscow and other cities perceived Razin's temporary stay in the lower Volga city.

The phenomenon of the perception of Astrakhan was originally generated by the atmosphere of instability of the historical context. In the descriptions of journeys (or “walks”, as they used to be called) Astrakhan was presented as a traversed leeway on the way to other, distant geographical points – India, Persia, etc. In the genre of walking, an image of space seen in motion, was formed. Here it is not only the physical factor of movement that is essential, omitting the architectural details discernible only with close examination, but also the specificity of the psychological background of perception. The cultural archetype of the road, apart from the will of the travelers themselves, affects their consciousness, increasing the ability to see and feel, tuning to the possibility of new, unforeseen impressions, events, meetings. Such features of perception determine the narrator's enumerative intonation, the panoramic vision of the spatial “horizontal” (Vogler, 2015).

Over time, the new intentionality filled the image of the Caspian Sea; however, some of the meanings remained in many variations, constituent for the studied supertext whose centre was man discovering the semiotics of that space.

In the poetry of the 18th century, the comprehension of a personality as a unique individual in all the richness of his own tastes and predilections, the understanding of human life as full of accidents, acquired philosophical features. For example, the poems by G. Derzhavin discuss the place and purpose of man on earth, the problems of life and death. These themes are reflected in the ode “To the return of Count V. Zubov from Persia through the Caucasus Mountains, 1797”. (Native literature, 2021) A. Pushkin rightly wrote that in his “...excellent ode to Count Zubov the former first depicted wild pictures of the Caucasus in the following verses...” (Native literature, 2021) but, let us add, of the Volga-Caspian as well. This was first noticed by N. Gogol, who commented on the relevant verses as follows: “Here, it seemed, a visual image of the Caspian elder was to be created, but it was lost in some spiritual invisible outline: the ear hears the only rumble of the roaring sea, and along with the grey hairs of the elder do the hairs on the head of the reader rise, who is struck by the harsh grandeur of the picture.” (Native literature, 2021) G. Derzhavin compared the Caspian Sea to Neptune, and the poet inhabited the lands around the Caspian Sea with snakes. It should be noted that Russian folk plots mention the Caspian Sea whose surroundings are inhabited with snakes. In the poem by N. Gumilev the countries beyond the Caspian Sea are the residence of the fabulous Snake Gorynych. (Native literature, 2021) These coin-

cidences are explained by the intertextuality of the image of the Caspian Sea (Sova, 2020).

The examples of “journeys” by J. Mandeville, S. Herberstein, H. Tectandre, J. Mergeret, A. Olearius, J. Struys, J. Bell, J. Reitenfels, P. Fleming, J. Potocki and others prove that these works reflect a differently-minded perception of the Volga, the nature and the city of Astrakhan. The authors of the “journeys” strove to be objective, accurate, they intended to describe what they had seen as fully as possible, but in doing so, of course, they were guided by their own impressions. This kind of intention lies at the heart of the “travel” genre.

In the nineteenth century, the territory of the Volga-Caspian was a zone of industrial growth. This social dynamic was also reflected on the pages of Russian literature, for example, in the novel “Three Countries of the World” by N. Nekrasov and A. Panaeva. The main character of the work was an enterprising young nobleman Kayutin, who turned to industrial activity. An important tendency in the evolution of portraying the Caspian Sea should be noted: in Russian literature it became an integral part of Russian geographical and state reality, and the centre of attraction of the Caspian Sea to Russia was Astrakhan: “Astrakhan province was not rich in settled population. And at the same time a whole third of it fell on the governmental city which served as the centre of all fishing on the Caspian Sea, occupying many thousands of hands. Working people flocked here for hiring from the upper provinces, ships were built and fishing materials, provisions, salt were procured; there, finally, was a storage port of all the catch of the Caspian Sea” (Native literature, 2021). The reception of the image of the Caspian Sea became more realistic, factual, filled with the meaning of the state strategy.

The representation of the Caspian locus does not exclude some factual errors, possible even in educational and scientific discourse which gives an idea of the physical geography of Russia. Some certain examples prove that the Volga-Caspian is in some contexts an “empty sign”. For example, the seventh, revised edition of the geography textbook for the preparatory course was published in St. Petersburg in 1861. The author of the “Notebook of Universal Geography” (that was the name of this textbook), Matvei Timaev (1796-1858) was careless in presenting scientific material and made many mistakes. N. Chernyshevsky, an attentive critic of Nekrasov's *Sovremennik* magazine, ironically noted the following fact of a gross scientific error: “It is curious to know what seas are located within the borders of European Russia. Here they are: ‘Seas. In the north is the Arctic Ocean. In the west is the Baltic Sea. In the south it is the Black Sea and its gulf, the Sea of Azov. The Baltic Sea serves mainly as a way of communication with other nations’”. Well, but where is the Caspian Sea? It seems that the Caspian Sea does not appear between European Russia and Persia “according to the latest geography” which corrected the seventh edition of “the Notebook”. But it is a pity: this sea supplied us with good fish”. (Native literature, 2021) (Author's translation).



The geographical shape of Russia as a result of M. Timayev's exposition, as can be seen from the fragment, turned out to be falsified.

N. Chernyshevsky could not help pointing out the strategic importance of the Caspian Sea which yet deserves much attention even beyond the near-Caspian countries in order to preserve peace in this region and to activate mutually beneficial economic relations. It is believed that in the near future Astrakhan will consolidate its status as the Caspian capital of the Russian Federation, and this circumstance will entail mental changes in the representation of this area and its administrative centre.

Thus, the structure of the text space becomes a model of real geography, evaluated from the individual author's positions and, at the same time, reflecting the focus of the actual receptive tradition. Cognitive and discursive potential of the Caspian Sea portrayal acquires internal syntagmatics, becoming the language of spatial modelling of the region.

Cognitive and discursive potential of the portrayal of the Caspian Sea

Philological analysis of space interprets the Caspian Sea as a set of objects and states with super meaning. In this regard, considering this water space as intertext, the recipients (travelers, writers, readers, researchers) from different (but in some ways common) ideological positions use the language of modelling spatial relations, which turns out to be one of the main means of comprehending the reality (Menchikov, 2020). For the Caspian Sea intertext the most important parameters are as follows: "near – far", "open – closed", "bounded – not bounded", "discrete – continuous" and many others. These parameters of worldview modelling turn out to be the material for building cultural models with absolutely non-spatial contents and get the corresponding meaning: "valuable – invaluable", "good – bad", "native – alien", "accessible – inaccessible", etc.

The spatial structure of texts about the Caspian Sea, expressing at the same time the spatial intensions of a more general type (the work of a particular writer, a particular trend in literature, a particular national or regional culture), not only represents a variant of the general system, but also in a certain way it conflicts with the latter, de-automating its language. As we have seen from the above examples, each recipient adds his own units of meaning to the image.

Along with the notion "top – bottom" (Mahovich, 2020), the essential feature which organizes the spatial structure of the Volga-Caspian intertext, is the opposition "closed – open". Closed space, being interpreted in the texts in the form of various everyday spatial images: home, city, homeland, endowed with certain attributes: "native", "warm", "safe", – opposes the open "outer" space and its attributes: "alien", "hostile", "cold". We note that, in the 21st century, opposite interpretations of the Caspian Sea are quite possible.

The Caspian Sea in the Oriental Discourse of contemporary National Journalism

The West and the East are not so much geographical concepts as cultural constructs, channelling the journalistic discourse which is addressed to the correlation of the main civilization strategies. Orientalism in contemporary Russian journalism appears to be a separate “imaginative practice” based on the cognitive and discursive abilities of contemporary publicists who textualize the authorial position, through the category of emotionality as well.

The cognitive and discursive practices of publicist representation of the East are based on the generalization of current events, classification, comparison of the two cultures, and the structural analysis of political conflicts. Emotivity plays an important role in the implementation of the processes of speech thinking, and it requires further analysis as emotive constructions are characterized by a high frequency of use in journalism – the most important sphere of influence on the reader. They also have a significant pragmatic potential, the ability to convey a wide range of communicative meanings and intentions causing a prompt response from the recipient (for example, comments on an article, a blog).

The Caspian Sea as a Construct of Actual Meanings: Research Results

As is known, the most important topological feature of space is the border. The border divides all space (including a text) into two mutually non-crossing subspaces. Its main property is impenetrability. The way in which the world, and the artistic world in particular, are divided by the boundary is one of the essential characteristics of our view of reality. This may be a division into natives and strangers, the living and the dead, the poor and the rich. The important thing is that the boundary that divides space into two parts must be permeable, and the internal structure of each subspace must be different (Toporov, 1995).

The image of the Caspian Sea acquires a peculiar interpretation in contemporary world. It should be considered that the perception of the Caspian Sea is determined in some way by the involvement of the reader. On this way, the reader gains a sense of place, and through it, a sense of inseparable spiritual belonging to the native space (Vogler, 2015). The Caspian Sea belongs to those super-saturated realities that are inconceivable without the whole behind them and, therefore, are already inseparable from myth and the entire sphere of the symbolic.

The Caspian Sea is the most important part of the world of contemporary Caspian man living in the amplitude of its action which forms the geographical, political, cultural and literary representations of the individual, which creates the preconditions for entering the global culture (Ladov, 2010). Perceiving the Caspian Sea as a “text”, considering texts as the expression of ideas belonging to persons from different time and different space about the world and themselves,



relating them to the cultural and thinking experience of the present, reconstructing the past and modelling the present, one understands oneself better today, which is especially important in the “digital” era, when nations and states are becoming closer to each other (Markelov, 2021).

Authors' Contributions

This article contributes to the illumination of the problem of the reception of the artistic space of the Caspian Sea as an intertextual reality.

References

- Enikeev, A. A. (2019). The Space of Philosophical Text: From Semiosphere to Landscape Metaphysics. *Proceedings of Tula State University. Humanities*, 4, 138–149 (In Russian).
- Ladov, V. A. (2010). *Semantics and Ontology: The Problem of Reality in Analytic Philosophy*. Tomsk University Press (In Russian).
- Lotman, Y. M. (2000). *Semiosphere*. Art-SPB (In Russian).
- Mahovich, E. V. (2020). The Semantic Field and Structure of the Concept “Artistic Space” in the Humanities. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts*, 3 (38), 5–11 (In Russian).
- Markelov, K. A. (2021). Forum “Caspian 2021: Ways of Sustainable Development”. – The “Place of Power” of International Scientific Cooperation. *Public Law Today*, 3 (9), 30–37. <https://doi.org/10.24411/2541-8440-2021-3-0002> (In Russian).
- Menchikov, G. P. (2020). Chronotope and Symphoria (development of Ideas About Chronotope in Modern Neoclassical Philosophy. *Vestnik Kazan State University of Culture and Arts*, 3, 11–15 (In Russian).
- Petrova, G. I. (2012). The Representational Function of Language: Classical and Modern Interpretations. *Vestnik (Herald) of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science*, 4 (20), 34–39 (In Russian).
- Prasolova, O. V., & Haustova, S. I. (2020). The Image of the Sea in Russian Classical Literature. *Bulletin of Scientific Conferences*, 7-2 (59), 113–114 (In Russian).
- Pritchin, S. A. (2021). A New Stage of Geopolitical Struggle Around the Caspian Sea After 1991. *Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: General History*, 13(1), 21–36 (In Russian).
- Native literature: Astrakhan and the Volga–Caspian in Russian and foreign literature (2021). Publishing house of the Astrakhan State Technical University.
- Rotmistrova, O. V. (2010). Lexical Paradigm, Representing the Ideas About the Geographical Space of the Country in the Russian Language Picture of the World. *Proceedings of the Herzen State Pedagogical University of Russia*, 120, 174–181 (In Russian).
- Sova, M. A. (2020). Metamodernism as an Artistic Space of Cultural Interaction in the Modern World. *Tauride Studios. Series: Cultural Studies*, 24, 31–38 (In Russian).

- Tanina, M. A., Yurasov, I. A., Alexandrovna, V., & Zyablikova, O. A. (2020). Analysis of Virtual Digital Protest in the Religious Semiosphere of Provincial Cities of Russia. *Theory and Practice of Social Development*, 11 (153), 32–37 (In Russian).
- Toporov, V. N. (1995). Petersburg and the “Petersburg text of Russian literature” (Introduction to the topic). In *Myth. Ritual. Symbol. Image: Studies in Mythopoeitics: Selected Works* (pp. 259–367). Progress Publishing Group – Culture (In Russian).
- Vogler, K. (2015). *The Writer’s Journey. Mythological Structures in Literature and Film*. Alpina Non-Fiction (In Russian).

Список литературы

- Воглер, К. (2015). Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. Альпина Нон-Фикшн.
- Еникеев, А. А. (2019). Пространство философского текста: От семиосферы к метафизике ландшафта. *Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки*, 4, 138–149.
- Ладов, В. А. (2010). Семантика и онтология: Проблема реальности в аналитической философии. Издательство Томского университета.
- Лотман, Ю. М. (2000). Семиосфера. «Искусство—СПБ».
- Маркелов, К. А. (2021). Форум «Каспий 2021: Пути устойчивого развития» – «Место силы» международного научного сотрудничества. *Публичное Право Сегодня*, 3 (9). <https://doi.org/10.24411/2541-8440-2021-3-0002>
- Махович, Е. В. (2020). Смысловое поле и структура концепта «художественное пространство» в гуманитарных науках. *Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств*, 3 (38), 5–11.
- Меньчиков, Г. П. (2020). Хронотоп и симфора (развитие представлений о хронотопе в современной неоклассической философии). *Вестник Казанского Государственного университета культуры и искусств*, 3.
- Петрова, Г. И. (2012). Репрезентативная функция языка: Классическая и современная интерпретации. *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*, 4 (20), 34–39.
- Прасолова, О. В., & Хаустова, С. И. (2020). Образ моря в русской классической литературе. *Вестник Научных Конференций*, 7-2 (59).
- Притчин, С. А. (2021). Новый этап геополитической борьбы вокруг Каспийского моря после 1991 года. *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история*, 13(1), 21–36.
- Родная литература: Астрахань и Волго-Каспий в русской и зарубежной литературе (2021). Издательство Астраханского государственного технического университета.
- Ротмистрова, О. В. (2010). Лексическая парадигма, репрезентирующая представления о географическом пространстве страны в русской языковой картине мира. *Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена*, 120, 174–181.



- Сова, М. А. (2020). Метамодернизм как художественное пространство культурного взаимодействия в современном мире. *Таврические Студии. Серия: Культурология*, 24.
- Танина, М. А., Юрасов, И. А., Александровна, В., & Зябликова, О. А. (2020). Анализ виртуального цифрового протеста в религиозной семиосфере провинциальных городов России. *Теория и практика общественного развития*, 11 (153), 32–37.
- Топоров, В. Н. (1995). Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему). В *Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтики: Избранное* (с. 259–367). Издательская группа «Прогресс» – «Культура».

Exclusion in the City Space: the Italian Experience

Elizaveta D. Zakuraeva

Higher School of Economics in St. Petersburg. Saint Petersburg, Russia
Email: [elizabeth.zakuraeva\[at\]gmail.com](mailto:elizabeth.zakuraeva[at]gmail.com)

Abstract

This article draws attention to the problems of exclusion and building frontiers in urban space. At the same time, the focus of the study is concentrated on the systematic nature of the formation of cultural exclusion zones at different time intervals in the history and culture of the Apennine Peninsula, that is, on the territory of the modern Italy. The reflection of exclusion in the city, which occurs throughout the urban history of Italy, is reflected and fixed in the history of Italian culture and art and in the phenomena of building physical and symbolic boundaries, marginalization and appropriation of space associated with this phenomenon.

This work is intended to prove the need to transform the erroneous position that exclusion is characteristic only of a modern city, a megapolis as a product of globalization, while the exclusion of an individual in an urban environment and the development of urban civilization are two interrelated and simultaneous processes that are developing over the centuries.

Taking into account the affects and experience of fixing exclusion in the urban cultural spaces of the Apennine Peninsula, the author comes to the conclusion that the history of urban culture fixes the presence of exclusion, which is characteristic of the individual living in the urban space from the very moment the city appeared and the corresponding subject-centric urban culture, the existence in which unfolds in the space of subordination, overcoming borders or resistance to the social order it gives rise to. All of these factors also affect the identity of the subject of urban everyday life. Italy, traditionally understood as the cradle of civilization and world culture, provides one of the most representative experiences of building, fixing, reflecting and experiencing exclusion in the urban environment due to the evolutionary process of changing and crossing different cultures.

Keywords

Exclusion; Urban Identity; Italy; Apennine Peninsula; Symbolic Boundaries; Urban Space; Philosophy of the City; Borders; Urban History; Italian Culture



This work is licensed under a [Creative Commons “Attribution” 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Отчуждение в пространстве города: итальянский опыт

Закураева Елизавета Дмитриевна

Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, Россия
Email: [elizabeth.zakuraeva\[at\]gmail.com](mailto:elizabeth.zakuraeva[at]gmail.com)

Аннотация

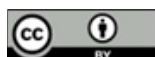
Данная статья обращает внимание на проблемы эксклюзии, выстраивания фронтиров в городском пространстве. При этом фокус исследования сосредоточен на систематическом характере формирования зон культурного отчуждения на разных временных интервалах истории и культуры Апеннинского полуострова, то есть на территории современного итальянского государства. Рефлексия отчуждения в городе, возникающего на протяжении городской истории Италии, отражается и фиксируется в истории итальянской культуры и искусства и в связанных с этим феноменом явлениях выстраивания физических и символических границ, маргинализации и присвоения пространства.

Исследовательская работа призвана доказать необходимость трансформации ошибочного положения о том, что отчуждение свойственно лишь современному городу, мегаполису как продукту глобализации, в то время как отчуждение индивида в городской среде и развитие городской цивилизации – два взаимосвязанных и симультанных процесса, развивающихся на протяжении столетий.

Принимая к рассмотрению аффекты и опыт фиксации отчуждения в городских культурных пространствах Апеннинского полуострова, автор приходит к выводу о том, что история городской культуры фиксирует присутствие отчуждения, характерного для обитания индивида в городском пространстве с самого момента появления города и соответствующей субъектоцентричной городской культуры, существование в которой разворачивается в пространстве подчинения, преодоления границ или сопротивления рождаемому ей социальному порядку. Все перечисленные факторы влияют и на идентичность субъекта городской повседневности. Италия, традиционно понимаемая как колыбель цивилизации и мировой культуры, дает один из наиболее репрезентативных опытов выстраивания, фиксации, рефлексии и переживания отчуждения в городской среде благодаря эволюционному процессу смены и пересечения различных культур.

Ключевые слова

отчуждение; городская идентичность; Италия; Апеннинский полуостров; символические границы; городское пространство; философия города; границы; городская история; итальянская культура



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons “Attribution” \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Введение

В данной работе мы будем рассматривать такое явление, как отчуждение индивида в городское среде, а именно, то, как феномен отчуждения развертывается и осмысливается в культурном поле истории и современности Италии. Отчуждение человека, несмотря на введение этого термина в философский дискурс и объяснение феномена Г. Гегелем, дальнейшее преобразование термина у К. Маркса, что прочно связало это явление с этими именами, в данной работе рассматривается в рамках фронтальных исследований. Отчуждение человека в городской среде не связывается напрямую с отчуждением труда, но, безусловно, имеет его в своей основе, хотя марксово «отчуждение» всё же неразрывно связано с отчуждением человека от себя самого, от других людей и от природы. Нами, в городских исследованиях, оно понимается, как неотъемлемая характеристика социального механизма города, как сознательно волевого продукта и самостоятельного организма, на протяжении всего исторического складывания и развития городской культуры, которая демонстрирует диалектику общего-единичного, публичного-частного. Отчуждение человека в пространстве города – феномен, свидетельствующий о парадоксальности человеческого бытия: человек становится чужд своей собственной деятельности, ее условиям, средствам, результатам и, в конечном счете, самому себе, отстраняется от других субъектов городской жизни. Общественные отношения существуют в форме отношения вещей, деперсонифицируя фигуру человека, ощущающего бессилие, бессмысленность, аномию и изоляцию. Человек живет на фронтире – границе между миром-собственным продуктом и миром-вытеснившим своего пользователя-творца. Вышеописанный феномен стал неотъемлемой частью опыта существования человека в городе, его идентичности, социокультурного и психологического аспекта его личности.

Мы не можем ожидать от города открытости, органичности, мягкости, дружелюбности и соразмерности по отношению к отдельному индивиду, ни в прошлом, ни в настоящем. Вследствие этого возникает отчуждение, эксклюзия различных частей общества из целого и их маргинализация. Город выступает превосходящей по силе, власти и жесткости проекцией человека и человеческого.

Проблематизация отчуждения в городской среде в последние десятилетия, характеризующаяся очевидным нарастанием проблем в мегаполисах, позволила выдвинуть тезис о том, что отчуждение в городах существовало с самого момента появления городов как места для проживания и сопровождало людей на всем протяжении исторического развития городской культуры, то есть от античности с полисной системой до сего дня. Необходимым представляется трансформация положения о том, что отчуждение свойственно лишь современному городу, мегаполису как продукту глобали-



зации и постиндустриального общества, в то время как первой волной отчуждения человека можно считать само появление городской цивилизации в целом.

На отчужденность индивида в условиях городской среды так или иначе обращали своё пристальное внимание различные философы и урбанисты; например, Ги Дебор и движение ситуационистов обращались к проблеме культурного отчуждения в мегаполисах и индустриальных городах в середине XX века; с тех пор эта проблема интересует с каждым годом всё большее количество мыслителей. На фоне большого числа научных работ, посвященных отдельным частным аспектам и проявлениям отчужденности в городской среде, можно отметить отсутствие полномасштабных комплексных исследований проявления отчуждения и выстраивания границ в городах и итальянской культуре, в частности. При этом особенности структуры итальянских городов в различные эпохи могут рассматриваться как факторы национальной и индивидуальной идентификации. Культурная география городских пространств на примере опыта эволюции итальянских городов демонстрирует весь комплекс возможных концепций, судеб и проблем городов – и путей их решения, так как территория Италии является «колыбелью» европейской цивилизации.

Городская среда не может рассматриваться в отрыве от архитектуры и территориального планирования, ее формирующего. В архитектуре также важны символические функции, выводящие не самое непосредственное утилитарное значение, это отмечал известный итальянский семиотик Умберто Эко. Так, «зоны отчуждения» в городской среде итальянских исторических поселений, такие как музеи, парки, руины, охраняемые объекты, занимая подчас площадь чуть ли не превышающую площадь территорий с внятной и доступной функциональностью, создают особую логику и особую тональность коммуникации. Символическая функция пространств и территорий, отчуждаемых и охраняемых в этом статусе, не сводится, таким образом, к отвержению или редуцированию динамических функций перехода, пресечения, освоения и присвоения пространства, а порождает новую функцию для денотата: включение особых коммуникативных свойств, свойственных медленной созерцательности, романтической рефлексии. Примечательно, что архитектор или урбанист может «интуитивно» творить, закладывая такое послание уже на уровне проекта.

Особенность итальянского горожанина в насыщенной смыслами архитектурной среде, равно как и культурная осведомленность, дают разнонаправленный эффект: с одной стороны – легкость, с которой он «восстанавливает» все прошлые исторические коды, заложенные в пространстве (как первичные, так и вторичные), а с другой – груз манипулятивного воздействия на него, который создается все тем же «смысловым шумом» (Эко, 2006, с. 283). Реконструкция риторики и идеологий былых времен, к которой такой горо-

жанин может и не стремиться вольно, а невольно оказывается подвержен этой форме избыточной коммуникации, с большой степенью вероятности порождает и отчуждение, и желание «укрыться» в пещере, проигнорировать, даже разрушить. Для наших дней довольно часто характерна ситуация, когда вторичные функции архитектуры (и искусства в целом) потребляются легче первичной.

Будущее развитие городов в постглобалистскую эпоху зависит от предшествующего опыта и от восприятия социальными структурами различных феноменов городской среды – отчуждения и присвоения, инклюзии и эксклюзии, включения и исключения, противостояния и признания, инаковости и маргинализации, подавленности и враждебности, выстраивания границ, формирования фронтальных зон и их преодоления.

В данной работе рассматриваются территориально-пространственные границы; затронуть аспект образования социальных разграничений на их основе не представляется возможным ввиду ограниченного объема данной статьи, но эта тема представляется нам перспективным исследовательским направлением.

Культурная география городских пространств

В истории итальянской культуры и искусства можно найти немало свидетельств переживания отчуждения в городе и связанных с этим феноменом явлений выстраивания физических и духовных границ, образования фронтальных зон, символического присвоения пространства. Всё это на протяжении различных эпох часто артикулировалось в произведениях искусства, общественной мысли, повседневных практиках, городских мифах и иных материальных выражениях нематериальной стороны общественной жизни. Далее мы обратимся к наиболее репрезентативным случаям выражения рефлексии об отчуждении человека и выстраивании символических границ на территории городов Апеннинского полуострова.

Начало формирования того, что в современных городских исследованиях определяют как фронт, можно заметить еще в античных полисах: «В Древнем Риме мы наблюдаем процесс качественного перехода от “полиса” греко-этрuscoго типа к экосистемной трактовке пространства, выражением которой становятся, в частности, лимесы – пограничные системы расселения» (Глазычев, 1984). Тем не менее, при органическом единстве города и окружающей сельскохозяйственной территории, отмеченного В. Л. Глазычевым, полис, как и любой исторический город, имел четкие физические границы – стены. Наряду с защитной функцией таких стен, они несли и символическое значение отделения городского пространства и населения от природного ландшафта, обозначая признаки утвердившейся позднее дихотомии город / деревня. Городская стена как граница одновременно и защищала,



и подавляла – эти базовые функции города сохраняются в измененном виде до сих пор. Возведение различных типов стен как границ означает защищать себя, а иногда и добровольно исключать себя из какого-либо смыслового поля, сообщества. До появления христианской религии на Апеннинском полуострове большого значения имела сакральная граница Рима – померий (pomerium) – которая обозначала священные границы города и отделяла его от остальной территории, где действовали другие религиозные и юридические правила.

В языковой структуре закрепляется фундаментальное культурное различие между моделью города в латыни и городом греческого языка – это отметил Эмиль Бенвенист в своем эссе «Две лингвистические модели города». Бинарная оппозиция слов *civis/civitas* (лат.) и *polis/politès* (греч.) демонстрирует нам первичность города над гражданином или обратную ситуацию. «Полис (*polis*) – это пример идентитарного города. Термин «полис» (*polis*) обозначает место, откуда себя производит определенное человеческое племя. Это место, где сосредотачивается конкретный народ со своими особыми традициями и обычаями, который обретает свой этос. В латинском корне эта соотношения перевернуто, в том смысле, что *civitas* происходит от *civis*, где *cives* обозначает группу людей, объединившихся вокруг общих законов для того, чтобы дать жизнь городу. Это очевидным образом различает греческий город от римского, где под первым понимается только определенное племя, особый *gens*, а второй обозначает объединение людей разных религий, этнических групп и происхождения. Полису предшествует идея горожанина, и она идентитарная, тогда как *civitas* образуется как следствие объединения граждан, и он космополитичен» (Сидди, 2019, с. 106).

Средневековый период

С утверждением христианской религии на территории Римской империи (Миланский эдикт – 313 г.) проявление и рефлексия феномена отчуждения в городе делает новый виток. Широкий спектр исследований посвящен спорам о континуитете или дисконтинуитете средневекового города по отношению к античному. Особое внимание структуре и культуре средневекового города уделяется еще и потому, что «город – как бы новая судьба мира. Когда он возникает, неся с собой письменность, то открывает двери того, что мы называем историей. Когда с наступлением XI века город возродился в Европе, началось возвышение небольшого континента. Как только он расцветает в Италии, наступает Возрождение. Так было со времен городских общин, полисов классической Греции, со времен Медины в эпоху мусульманского завоевания и до наших дней. Все поворотные моменты роста выражались во взрыве урбанизации» (Бродель, 2007, с. 447).

Но проблема отчуждения человека в пространстве города проходит красной нитью сквозь всю историю городского развития, а в средневековом городе эта проблема имеет несколько векторов развития. Во-первых, расцвет городов стал возможен благодаря четкому разграничению сфер труда между деревней и городом. В связи с этим исследователи отмечают не только очевидную дезинтеграцию жителей внегородской среды и горожан, но и отчуждение последних от природной среды. Труд горожанина был связан с ремеслом и торговлей и имел меньшую зависимость от естественных циклов природы, смены сезонов, в отличие от сельского хозяйства, в котором лишь небольшая часть населения периодически была задействована на полевых работах. Структура повседневности горожанина и жителя внегородской среды влияет на идентичность субъекта, которые вместе задают своеобразную матрицу повседневности: в отличие от деревенского жителя, горожанин имеет также и широкий выбор в отношении своего досуга, но житель маленького города (*paese*), очень характерного для Италии, имеет свою специфику, а именно синтез двух упомянутых моделей, который отражается в паттернах национального самосознания.

Во-вторых, один из аспектов отчуждения в средневековом городе связан с усилением позиций христианской религии, когда в мировоззрении человека меняются представления о пространстве и времени: на первый план выдвигаются другие представления об окружающем человека мире. Это прежде всего идея сотворения окружающего мира Богом, давшая понимание развития во времени; новое соотношение вечного, неизменного и текущего, настоящего; первенство духовного над материальным (например, на место римского храма приходит купольный храм, который стал изменять силуэт раннефеодального города, по сравнению с античным), эсхатологическое ожидания конца постороннего мира.

В целом мировоззрение средневекового человека было подчинено концепции, изложенной в труде одного из виднейших западных Отцов Церкви Аврелия Августина (354-430) «О Граде Божиим» (Блаженный Августин) (1998). Пространство средневекового города полностью отражает сформированные религиозным мировоззрением сакральные границы, выразившиеся в физической структуре города: громада городского собора доминировала над остальным ландшафтом города, указывая на слабость и страдающее, смиренное положение человека перед Богом. Собор был градообразующим началом и указывал на то, что человек не властен над пространством, даже над пространством собственного города и квартала, в котором проживает, и забота о материальном не укладывалась в представления средневекового горожанина. К этой же теме обращался известный специалист по философской и культурной антропологии Б. В. Марков в труде «Храм и рынок. Человек в пространстве культуры»: «Христианская жизнь протекает во времени, а не в пространстве. <...> Город как бы не существует для христианства, хотя



оно отнюдь не является сельской, аграрной мифологической религией. Но христианин не ориентируется в реальной топографии города, ибо блуждает в поисках «божьего града» (1999, с. 156). Таким образом, человек Средневековья находился в пограничном, отчужденном состоянии – из-за беспрецедентной фрагментации идентичности человека и новой городской повседневности. Мы можем наблюдать диссонанс в самоидентификации средневекового горожанина, а именно в нем сочетались две противоположные по своему значению формы городской солидарности – религиозная, устремленная «вверх» от материальности, к небесным перспективам спасения, и земная, телесная, обусловленная деловыми отношениями, торговлей, выгодой и жадой накопления, со всеми земными грехами и страстями. Средневековый горожанин постоянно находился на перекрёстке различных нематериальных и физических центров.

Заметное влияние на городскую структуру Средневековья оказала цеховая организация ремесла, которая появилась в Италии в IX–X веках, раньше всего в Европе. Цех, располагающийся в определенном районе города, символически и физически присваивал себе кварталы и районы, зачастую с прочерчиванием границ и входов, объединенные представителями одного цеха, которые там проживали и работали, формируя неоднородную и раздробленную городскую среду. Упомянутые факты позволяют утверждать существование отчуждения разных частей города друг от друга. Через цеховую структуру горожане поддерживали лояльность своему локальному сообществу, выключенные благодаря городской культуре из родовых отношений. Таким образом, город в своём устройстве отражал самые важные цивилизационные сдвиги и изменения в политике, экономике и культуре, как это будет и в последующие эпохи. Например, с приходом капитализма и упадка феодальной системы во Флоренции на границе эпохи Возрождения в городе изменился его пространственный и культурный коды, что изменило его восприятие, интерпретацию и функционирование: была преобразована планировка улиц, возникли новые виды и формы архитектуры зданий, некоторые районы появились, а другие исчезли с карт. В эпоху Средневековья отчуждение в некоторой степени могло быть преодолено через народно-площадную культуру, представленную М. М. Бахтиным в книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (1990) – во время карнавалов на центральных площадях городов люди объединялись и реализовывали свое внутренне желание к истинной свободе, равенству и изобилию, чего не было в их городской повседневности. Это было возможно, по мнению Бахтина, благодаря тому, что во время карнавала через праздничный смех в городе временно отменяются устоявшиеся иерархические отношения привилегии отдельных групп, нормы и запреты. Особая карнавальная культура, которая отражает зыбкость и неустойчивость окружающей среды, при этом стирая раздельность и разобщенность людей в городе, обусловленные социальными и

статусными границами, уравнивала горожан между собой и утопическое и реальное в их карнавальном мироощущении.

Благодаря Т. Мору и его «Утопии» в XVI в. в Западной Европе появляется несколько произведений того же жанра, в том числе связанных с проектами фантастических городов («Город Солнца» (1602) Т. Кампанелла, проект города Пальманова (1593) Винченцо Скамоцци). Пьеро делла Франческа¹ (1415-1492), итальянский художник эпохи Раннего Возрождения, создал несколько живописных работ с названиями «Идеальный город». В этих произведениях мы видим отражение представлений художника о том, каким должен быть идеальный ренессансный город. Изображенное пространство более напоминает театральные декорации, потому что в своем видении идеального города художник не оставил там места горожанину, человеку: на одной из картин нет ни одного человека, на другой – единицы, как будто оказавшиеся в городском пространстве случайно, и бесцельно находящиеся в нем. Конструирование утопий, на наш взгляд, напрямую связано с проблемой социального и физического отчуждения в городском пространстве и потребности в его трансформации для последующего присвоения как оппозиции существовавшей и существующей отчужденности.

Новое время и тоталитарная Италия

Новое время и промышленная революция всё отчетливее артикулировали отчуждение человека в городе, выстраивание символических границ, выделение ментальных границ в физическом пространстве городов. Решающим веком для истории урбанизма в Европе стал XIX век – как с точки зрения важных изменений в распределении населения между городом и деревней, так и с точки зрения изменения функций города: «Именно в городах концентрируются все основные ресурсы (человеческие, материальные, интеллектуальные) и именно здесь происходит самый значимый модернизационный прорыв XIX в.» (Вахштайн, 2014, с. 12). Большой индустриальный город разбит на специализированные зоны: деловой центр, коммерческие, административные и политические районы, производственные и рекреационные зоны, жилые районы, выделенные социальными слоями. Формируются и развиваются особый образ жизни и менталитет, радикально отличавшиеся от таковых у закрытых крестьянских общин, которые характеризовались (хотя и со значительными различиями) в первую очередь связью с социальной и гендерной принадлежностью. Возникает отчуждение от природы, усиление контраста между городом и деревней, большой индивидуализм, близость роскоши и нищеты, разделение частной и общественной среды, инновации, быстрые ритмы жизни, связанные со строгим учетом времени.

¹ Работы, о которых идет речь, приписаны позже британским искусствоведом Кеннетом Кларком кисти Пьеро Делла Франческа.



Вместе с общим философским теоретическим осмыслением и фиксацией проблемы отчуждения в жизни человека индустриальной эпохи и горожанина, к её репрезентации обратились различные деятели итальянского искусства в своем творчестве. Одной из таких фигур является художник Джорджо Де Кирико, который осмыслил в живописи метафизического периода (1909–1919) красоту отчужденности человека, изобразив при этом психический автоматизм и уход в глубину подсознания человека в современной художнику городской среде, что стало предвестником сюрреализма в живописи. Метафизический урбанистический пейзаж у Де Кирико демонстрирует нам враждебность к человеку, для которого там нет места, а есть лишь для его тени. Впечатление, производимое полотнами художника, как и реальность в сюжетах его картин недружественна, безлюдна и вызывает тревоги как после большой катастрофы, стершей людей с лица Земли и их места проживания, оставив ими выстроенную среду в одиночестве, пространство тайны, куда человеку вход заказан. Как будто так и было задумано, и человеку в городской среде не место: она самодостаточна и неприступна. Или, отмечают исследователи, изображенные архитектурные ансамбли могут быть городами, никогда и не населенными людьми, городами-химерами, призраками, в которых обитают антропоморфные существа: «Его оцепеневшие в полуденном зное улицы и площади становятся своего рода собирательными образами итальянских городов от Турина до Рима, но в них не найти конкретных узнаваемых черт. Это «город Классики», разрушающийся под натиском современной индустриальной эпохи» (Гончаренко, 2020, с. 250). Де Кирико считается предшественником сюрреализма, который в свою очередь провозглашал психический автоматизм, в основе которого лежит отчуждение от рационального и уход в подсознание.

Под влияние Де Кирико в изображении метафизических городских пейзажей попал итальянский художник Марио Сирони. В цикле, созданном в 1916–1920 гг., Сирони изображает¹ фигуры одиноких велосипедистов и мотоциклистов на фоне застывших вневременных городских ландшафтов и оставленные городские пространства индустриальной эпохи, монументальные и незыблемые, артикулирующие изолированность фигуры человека. Но фигуры тоже лишь отдаленно напоминают человека, в произведениях Сирони можно увидеть всевозможных манекенов и кукол, что также намекает на отчужденность человека от своего собственного образа в городском пространстве. Индустриальный городской пейзаж, освоенные окраины должны быть свидетельством прогресса, но в произведениях Сирони этот прогресс замер на месте, ландшафт утратил свою память и историю, стал чужим, разорванным и оставленным. Исследователь репрезентации города в итальянском городе первой половины XX века Гончаренко Н.М. отмечает, что «в раннем футуризме

1 Картины: «Велосипедист» (1916), Цикл «Городской пейзаж» (1918–1922), «Вид на окраину города с самолета» (1919), «Синтез городского пейзажа» (1919), «Окраина» (1920–1922), «Городской пейзаж с грузовиком» (1920), «Белая лошадь на окраине города», «Всадник» (1920–1921), «Трамвай на окраине» (1920), и другие.

образы современного города интерпретировались как состояния души (в творчестве Умберто Боччони, Карло Карра) <...> впоследствии их место заняли изображения города-машины, как в живописи Луиджи Руссоло, и «аэроживопись», где человеческим эмоциям уже не было места (примером могут служить произведения Тато и Тулио Крали)» (Гончаренко, 2020, с. 239).

Родоначальник футуризма в Италии Умберто Боччони в своем раннем творчестве изображал город в технике, близкой к дивизионизму. В своих произведениях 1908 года «Автопортрет» и «Сумерки» Боччони изображает городские индустриальные окраины, железную дорогу, строящиеся здания, за которыми виднеется ровный, нетронутый еще человеческой рукой ландшафт – это окраины Милана, где жил художник. Темы экспансии города и преодоления им своей прошлой границы Боччони развивает в своих произведениях «Город растет (Город поднимается)» 1910 и 1911 г., где вместо фигур теперь просто единый поток людей, силуэты накладываются друг на друга, растут один из другого, фрагментированы. Вторжение городской среды в личное пространство человека, размывание границ отражено в картине «Улица входит в дом» (1911), где «пространственные пласты проникают друг в друга, интерьер смешивается с экстерьером» (Гончаренко, 2020, с. 243). Влияние динамики городской жизни на движения души человека отражено в триптихах Боччони «Состояния души-1 и 2» (1911). В его картинах часто раскрывается один из главных образов футуризма – «клубящаяся» толпа людей, в которой не угадать лиц, толпа как будто тоже часть машины, большого городского механизма, люди всегда как призраки и не могут друг друга узнать, находясь как будто в измененном состоянии сознания. Один из родоначальников футуризма Филиппо Томмазо Маринетти опубликовал в 1909 г. первый футуристический манифест, в котором провозглашал отвержение идеалов и традиций старого мира, в том числе в искусстве, ради движения к будущему. Искусство должно было соответствовать нарастающему ритму жизни современных городов, что есть путь к последующему намеренному отчуждению целых пластов предшествующей культуры в эпоху фашизма, выдвигавшего на передний план древнеримскую риторику.

В произведениях футуристов художники восхваляют город-машину, которая станет новой природой для человека, утратившей способность передавать смыслы, десакрализованной, улавливают дух этого города. Но насилие, агрессия, техника, скорость, война, взрывы, удары (футуристы провозглашают это условиями сохранения жизненной энергии), то есть все характеристики индустриального города, наступающее на человека пространство, уносящее его с собой в динамичный вихрь городской жизни, демонстрируют переживаемый человеком кризис нахождения в городской среде и взаимодействия с ней и фиксацию его футуристами, предполагаемый выход из которого, путь к обновлению футуристы предлагают в концепте «переустройства».



Антонио Сант-Элиа в «Манифесте футуристической архитектуры» (1914) представляет себе город как универсальную машину, сложный электрический механизм. Первоначально текст манифеста был сопровождением графических листов проекта Сант-Элиа “Citta Nuova” («Новый город», 1914), в котором городское пространство наполнено огромными зданиями с многоуровневыми уступами, заводами, электростанциями как узлами огромной городской сети, переходами и пешеходными мостами, окружено футуристическими транспортными артериями, приподнятыми над землей, что окончательно отрывает город от природы и «исторически созданного пейзажа» (Мартеллотти & Седов., 2010, с. 235). В соответствии с этим описанием наблюдателю представляется враждебный город, полностью подчиненный логике прогресса и исключаящий волю человека из своего семантического поля, но у Сант-Элиа такой город будущего, наоборот, должен удовлетворять потребности горожан, и каждое поколение сможет перестраивать город для себя, если наследие прошлого не функционально для современных нужд. Важнейшее право человека по отношению к городской среде у футуристов – это возможность жить в таком пространстве, которое бы было прямым отражением потребностей и пристрастий современного общества. Но практически, визуальное итальянское футуризм предопределил наступающий жестокий век города, наступающего на человека: «сама городская улица больше не вырисовывается как симметричная картина уходящих вглубь «кулис», расположенных на ее противоположных сторонах и смотрящих друг на друга, привязка к поверхности земли осуществляется в городе согласно принципу случайности» (Мартеллотти & Седов., 2010, с. 235).

Футуристы восприняли приход фашистов к власти отчасти как итальянскую национальную революцию, как рывок к обновлению, будущему и прогрессу, так как для фашистской власти разрыв с традицией и отбрасывание прошлого так же стояло «во главе угла».

Фашистская власть использует архитектуру и организацию городской среды как способ своей репрезентации в обществе, таким образом тотально проникая во все сферы жизни общества. У дуче Бенито Муссолини, который пришел к власти в Италии в 1922 году, были сложные отношения со столицей, Римом, так как он родился на севере страны: он приходит к власти после демонстративного «похода на Рим» и получения должности первого министра. Так фашистский режим семантически связывается с образом вечного города и его «присвоения» новой властью: античные образы проникают в визуальную идеологию итальянского фашизма, что подтверждают слова дуче 1934 г.: ««После Рима цезарей, после Рима пап сегодня есть единственный Рим – Рим фашистский, в котором древнее и новое единовременны, и он возвышается, приводя в восхищение весь мир» (Вяземцева, 2018).

При власти фашистской партии городская среда Рима претерпела радикальные изменения – это был нетипичный европейский город, так как роль

центра католической веры обезопасила его от появления множества заводов, фабрик и высокой концентрации рабочих. Риму требовался имидж современного города, центра нового передового государства, поэтому фашисты основательно взялись за насильственное изменение его многовекового облика, не заботясь о сохранении памяти и пластов истории города, которые не вписывались в идеологические рамки: на месте памятников возводились широкие магистрали, площади, выселялись определенные слои населения, которые не должны были в представлении власти проживать в центре столицы, но велись активные археологические работы по выявлению античного наследия: «Рим стал настоящей витриной режима, образцом новой градостроительной политики, которая заново выстраивала историческую идентичность итальянских городов и задавала им перспективы развития» (Вяземцева, 2018). Наиболее известный случай радикального изменения среды – это строительство виа Империя, которая была проложена для исполнения роли главной сцены, а фасады – трибун для всех массовых шествий, проведение которых характерно для тоталитарных режимов 1920–1930-х гг. Она также служила дорогой от рабочей резиденции Муссолини к Колизею (Пьяцца Венеция как новый центр империи), как маркер преемственности между Римом античным и Римом фашистским. Для прокладки виа Империя были сровнены с землей жилые дома, средневековая застройка и часть территории императорских форумов (были разрушены часть раскопок императорских форумов Траяна, Августа, Нервы, пьедестал статуи-колосса Нерона и руины античного фонтана). Еще одним символом преемственности должен был стать дворец Литторио (штаб-квартира фашистской партии); проект так и не был реализован, но планировался на виа Империя, в нескольких сотнях метров от Колизея, напротив руин базилики Максенция. В целом Рим, являясь символическим центром Западного мира, на протяжении многих столетий своей истории несколько раз терял себя, был забыт и находился в запустении, а затем вновь возрождался к новой жизни и расцветал – вытеснялся из актуального культурного пространства и вновь присваивался властью, народом или церковью. И план фашистской перепланировки Вечного города является утопией, сравнимой с идеальными городами эпохи Возрождения.

Новые символические центры в этот период создавались и в других городах Италии с помощью расчистки старой застройки и формирования площади-форума, обрамленной государственными институциями для проведения массовых шествий и демонстраций – примером может служить Пьяцца делла Виттория в Брешии. Создание масштабных площадей, их возросшая субъектность в эпоху фашизма являлись актом политического торжества, например, та же Пьяцца Венеция в Риме. Концепция Рима как линейного города, ведущего к Остии, воплотилась также в создании с нуля монументального квартала к международной выставке EUR (1935–1943), который должен был презентовать образ новой Римской империи, возродившейся в фашист-



ской Италии первой половины XX века. В четырехсторонних аркадах главного здания комплекса – Дворца итальянской цивилизации, прозванных квадратным Колизеем, угадывается мотив метафизического города Де Кирико:

«Отсутствие как таковой фасадной доминанты, да и главного фасада вообще, обусловлено, как мне кажется, идеологическими соображениями: монотонная фактура экстерьера, вызывающая у человека ощущение бесконечности и, соответственно, подавляющая его, должна была символизировать вечность и незыблемость фашистского строя в Италии» (Белов, 2007).

В плане квартала – широкие проспекты, пересекающиеся только под прямыми углами, простота линий, в архитектуре – колоннады, барельефы и скульптуры, мрамор, гранит, фашистская символика. Для создания образов городов возрожденной империи фашистскими властями перед архитекторами и художниками была поставлена задача «разработать новый архитектурный стиль, который должен был отличаться сверхчеловеческим масштабом сооружений и позволить заменить чувство меры чувством безмерного, безграничного, бесконечного» (Уланский, 2019). Воплощением упомянутой архитектурной и градостроительной политики фашистских властей были новые города, основанные с нуля в средней части Апеннинского полуострова. Они явились одними из градостроительных примеров отстранения от истории в контексте создания и использования городской среды в Италии эпохи фашизма. Были созданы девять новых городов близ Рима на месте осушенных малярийных болот, где пространство и вся инфраструктура создавались с нуля: наиболее известны пять – Латина (Литтория, 1932), Сабудия, (построена за 253 дня, 1934), Понтиния (1935), Априлия (1937), Помеция (1939).

Феноменом конструирования границ, фронта внутри города на уровне идентичности, характеризуется история города Триест, что располагается на северо-востоке Италии. Триест считался одним из самых знаковых мест времен холодной войны, которая воображаемо расколола Европу на две части:

«Именно здесь предположительно начался “железный занавес” Черчилля, и город долгое время считался последним форпостом “Западной Европы”. На национальном уровне Триест также рассматривался как жизненно важное пространство “итальянскости” и граница, которую итальянское государство должно защищать от коммунистической (и “славянской”) угрозы <...> Триест был одним из немногих мест времен холодной войны (Берлин был другим), где – по крайней мере, в риторике – “Западная” Европа напрямую соприкасалась со своим абсолютным “Другим” <...> это место, где “европейскость” приходилось ежедневно перезаписывать, заново подтверждать. Как и в случае с Берлином, судьба города оспаривалась вплоть до окончания войны: союзные оккупационные силы не покидали его до 1954 года, а договор о передаче значительной части внутренних районов города Югославии не вступал в силу до 1975 года. Город и его окраина продолжают оставаться в авангарде процессов переопределения идентичности в новой Европе» (Bialasiewicz, с. 319-320).

В послевоенное время интересными примером отчуждения города от памяти и истории является город-утопия Джибеллина-Нуова. Вследствие землетрясения на Сицилии в 1968 году, травмы, которую пережило пространство городов и их жители, несколько городов были стёрты с лица Земли, и необходимо было выстроить с нуля новую среду, как городскую, так и социальную. Правительство Италии и новая администрация городов не справлялись с задачами по восстановлению и открыто провоцировали жителей уезжать из своих родных мест, чтобы уничтожить всякую память о городах, средств и ресурсов на восстановление которых не было. Из-за этих проблем город Джибеллина возродился под названием Джибеллина-Нуова в 18 километрах от старого места как идеальный город искусств, в создании которого принимали участие художники Й. Бойс и А. Бурри. Город создавался как утопия с регулярной планировкой и несколькими типами домов, присутствовали аллюзии и отсылки к античному наследию, которого там никогда и не было:

«Если греческие скульптура и архитектура работали с контекстом, формируя его вокруг себя и притворяясь, будто без них никакого пейзажа и быть не может, модернистская скульптура контекст подчёркнуто игнорирует, она целиком замкнута на себя, буквально сообщая зрителю: мне не о чем с вами говорить, проходите дальше. Это отсутствие объединяющей воли, которая бы сформировала общее сценографическое решение для всех работ, очень ощущается в городе. Все его художественные объекты предоставлены себе и не желают взаимодействовать с жителями <...> Легко считывается попытка придумать память городу, у которого нет собственного прошлого, причём воспоминания не наследуются от Старой Джибеллины — это искусственно созданные воспоминания о мифологическом прошлом, где не было никакой коллективной травмы» (Стрельцова, 2018).

И пейзажи этого итальянского города-утопии XX века вновь черпают истоки в метафизической живописи Де Кирико. Соседний город, менее пострадавший от природного катаклизма, Салеми, потерял часть жилых построек и главную церковь, которая структурировала собой пространство, как это часто было в средневековых городах Западной Европы. Художник Алвар Сиза Виейр так работал с коллективной памятью места: «не стал ничего строить или реконструировать, а просто сместил акценты: превратил то, что было внутренним пространством оставшейся без крыши и стен церкви, в центральную площадь города, <...> он выявил лакуну, отсутствие... Произведением стал этот невидимый город – невидимый ни для местных, ни для туристов» (Стрельцова, 2018), создав новое смысловое пространство. При всём этом жители разрушенных и полуразрушенных городов Сицилии не принимали решения о его перестройке, а были принуждены покинуть свои старые жилища. Утрата памяти и истории места оказывает радикальное влияние на утрату идентичности субъектом, связанную с этим пространством – «в городе память и история укоренены друг в друге: каждый горожанин устанавливает



свои особые отношения с памятниками, носителями глубинных и коллективных исторических свидетельств» (Оже, 1999).

В это же время проблема отчуждения и неопределенности человека, связанная со средой, осмысливается и в итальянском кинематографе: режиссер Микеланджело Антониони создает свою «Трилогию отчуждения» – фильмы «Приключение» (1960), «Ночь» (1961) и «Затмение» (1962); другие фильмы режиссера отличаются схожими чертами, но в этих фильмах всё нижеописанное проявляется наиболее ярко. Такое название трилогия носит в силу того, что основные действия разворачиваются на фоне черно-белых пейзажей, безразличной и порой безликой городской среды, которая служит идеальной рамкой для отчуждения внешне благополучных персонажей друг от друга из-за неопределенности и растерянности, глубокое одиночество, духовное омертвление, эмоциональное отстранение, невозможность найти своё предназначение и место в жизни. Люди тщетно и бесцельно перемещаются в чуждом им пространстве города, оправдывая это какими-либо сиюминутными делами, никогда не сближаясь друг с другом и не образуя тесную личностную связь. Так режиссер изображает тревожную картину разрушения современного субъекта, то есть индивида постиндустриального города – «герой экзистенциального кино мучился и томился разгадкой совершенно закрытого городка <...> симметрия и асимметрия, тяготины замедленного хронотопа, яростные разговоры ни о чем и фигуры, так и не вписанные в интерьер или пейзаж, так и остающиеся стаффажем, плюс, конечно, «болезненное буржуазное отчуждение» (Бавильский, 2020, с. 345). В конце фильма «Затмение» камера уходит от главных героев на 8 минут фокусируется на абстрактном созерцании города. Вся тягучесть и неопределенность в действиях героев, в структуре и аудиовизуальном оформлении фильма отражает внутреннее состояние человека того периода, но, на наш взгляд, такое внутреннее состояние часто можно встретить и в постинформационном городе.

Постинформационный город

В целом в рамках индустриализации и цифровизации городов, процессами, которые протекали на протяжении XX века, итальянские города, в особенности столицы регионов, которых на данный момент насчитывается 20, не отличались основными характеристиками от других мировых мегаполисов. Итальянский дизайнер и архитектор Паоло Мартелотти так описывает современные города: «Города как места пульсирования языка-интеркода: города, где в каждой его точке проявляется многообразие целого. «Комплексный» город абсолютного доминирования, искусственного и виртуального – вот модель, определившая рост многих городов в последние десятилетия, в противовес модели, предполагавшей равновесие различных его

функций и равновесие между природой и вмешательством в неё человека» (Мартеллотти & Седов, 2010, с. 61).

Многие исследователи отмечают, что изменения, связанные с возникновением города и городского образа жизни, менталитета, были даже менее радикальными для человека с психологической и культурной точек зрения по сравнению с эпохой Интернета и тотальной мобильности. В наши дни выделяется следующая основная черта произошедших изменений – отчуждение пространства от человека, выражающееся в лишении прежнего живого содержания публичных пространств, де-локализации коммуникации и перенос в сеть, где местоположение не имеет значения для совершения акта коммуникации, универсальность места и времени. Предпринимаются попытки присвоения городского пространства в градостроительстве теперь через социальное картирование, отражение на картах мест прошлого, существующих в городской идентичности, для превращения пространства потоков вновь в пространство мест – топонимы, «складываясь в созвездия, преобразующие поверхность города в систему, со своим порядком и иерархией значений, они призваны помочь ориентироваться в хронологии, утверждать легитимность тех или иных исторических деятелей или явлений. Постепенно первичные значения этих имен стираются, <...> отделившись от мест, которые они должны определять, названия служат воображаемыми точками маршрутов, действуя подобно метафорам – важен не буквальный, а переносный смысл» (Де Серто & Космарский, 2008, с. 33).

Любопытным кажется опыт фиксации впечатлений от нахождения в городской среде современных итальянских городов, например Пизы: «Пиза – это чистая меланхолия запустения. Любые города, пережившие пики своего развития, рассказывают именно про это, но Пиза [а далее и Сиена] как-то настаивает, что лучшее минуло, растаяв без следа, и для этого вспухает частями и участками вдоль непрозрачной реки, как бы раздвинувшей город для чего-то и забывшей сдвинуть обратно. Века, конечно, подталкивают их к разомкнутости в окружающее пространство, стирая границы между регулярной застройкой центра и разбросанностью окраин, плавно переходящих в хозяйственные кварталы глухих терминалов, складов и фабрик с ландшафта окоема, тянущегося до отрогов гор, снимающих с этих мест прямые бинарные оппозиции типа «жизнь/смерть» (Бавильский, 2020, с. 261). Или пример небольшого города Лукка в Тоскане: «в ней я все время пытался найти центр, и он от меня ускользал. Невозможно было ... расставить свои туристические галочки... город взят» (Бавильский, 2020, с. 282). То есть ризоматичность структуры города, сохранившаяся до наших дней, не дает туристу присвоить себе город, понять его, подчинить своему восприятию. Италия воспринимается как своеобразный заповедник городской культуры – «пользуясь всюю топографией «страны городов» для внутреннего стенографирования <...> в этом путе-



шествии почти нет Италии, есть земля отдельных городов» (Бавильский, 2020, с. 302).

Отчуждение является одновременно и продуктом нашего существования в городах и существования самих городов, и мы, как жители современного города, испытываем потребность в его преодолении, в стирании границ. Зоны отчуждения в современном городе представлены «не только символическими территориями за пределами историко-культурного пространства цивилизации, но они также соответствуют четко определенным физическим местам: свалки, руины, закрытые музейные фонды, огороженные парки, территории, засекреченные государством, кварталы, предназначенные для определенных категорий посетителей или граждан, места наказания, военные районы, фавелы и другие типы маргинализированных территорий» (Pirni & Nikolaeva, 2019).

В наши дни в Италии отмечается присутствие общемировой тенденции к формированию дигитальных городов: «актуальная ситуация подразумевает переход от понимания города как суммы социальных объектов к социальной системе <...> город подвергается непрерывной трансформации, которая неумолимо изменяет его бытие. Новая троичная целостность города (артефакты + люди + технология) создает новую социальную идентичность, которая лежит именно в отношениях между отдельными людьми, между людьми и объектами, а также между объектами» (Сидди, 2019, с. 154). Коммуникационные информационные технологии стали полноценными силами, влияющими на формирование городской идентичности и на пути структурирования среды – «организация социальной жизни в нынешнем городе рассматривается как особая реализация гиперреальности, призванная энтропийно преодолевать свои собственные границы» (Pirni & Nikolaeva, 2019). У дигитальной трансформации города есть большой потенциал для изменения вектора культурной эволюции феномена идентичности. Таким образом, идентитарные формы в современном дигитальном городе подвергаются непрерывной гибридизации и смешению: «дигитальный город стирает различия между сообществами любого типа: как этносы, национальности, религии, классы, семьи» (Pirni & Nikolaeva, 2019). Город стал прозрачен, ризоматичен, децентрализован, в нем больше нет места для сильной центральной власти или диктаторов, он существует в форме сети.

XXI век представил целый пласт проблем, связанных с отчуждением в городской среде из-за разразившейся пандемии COVID-19 в 2020 году, когда жители Италии и всего мира оказались замкнуты и изолированы в пространствах своих жилищ без возможности перемещения в городе – «Как в сказке, города, чтобы защитить себя от невидимого, но могущественного врага, исчезли: они ушли в изгнание. Они объявили себя запрещенными, вне закона, и теперь они лежат перед нами, как внутри археологического музея или диорамы <...> мы оплакиваем исчезнувший город, приостановленное сооб-

щество, закрытое общество вместе с магазинами, университетами, стадионами» (Соссиа, 2020). Мы, горожане, вынуждены были стать отшельниками, которые уходят в свое личное пространство и проводят день, бормоча светские молитвы. Итальянский философ Джорджо Агамбен рефлексировал на эту тему: чем стало окружающее нас физическое и социальное пространство после того, как мы потеряли к нему прямой доступ? Каждое место теперь предстает в своем истинном облике, они начинают каким-то странным образом касаться нас даже более близко и ощутимо чем раньше – они предстают такими, какие они есть на самом деле, чего мы не замечали: великолепными и страдающими одновременно. Агамбен в своих заметках о времени мировой пандемии радикален в эсхатологических высказываниях о гибели человеческой цивилизации, но отражает чувства горожан, которые были исключены из привычной им реальности, унижены и напуганы, изолированы и втиснуты в узкие рамки своих домов, которые превратились из родных жилищ в настоящие тюрьмы: «Мы живем в домах, в городах, сожженных сверху донизу, как если бы они все еще стояли, и люди притворяются, что живут в них, и выходят на улицу, замаскированные среди руин, как если бы они все еще были знакомыми районами прошлого» (Agamben, 2021).

Вспоминая Хайдеггера, – построенные объекты живут, только если они обитаемы, а городское пространство в эпоху эпидемии COVID-19 было, а в некоторых областях и остаётся оставленным и покинутым, городские пространства более не нужны, горожане вынужденно отказались от их функций, и возврат не будет моментальным и легким, судьба физических пространств, по словам философа, еще не определена – города медленно умирают в одиночестве и изоляции вместе с урбаноцентричной культурой западноевропейской цивилизации, так как все её функционирование перенеслось в глобальную сеть Интернет. Например, в городском планировании и градостроительстве теперь не так велика роль транспортной инфраструктуры, основанной на пропускной способности дорог и общественного транспорта, поскольку паттерны мобильности в городах изменились и стали более локальными, почти исчезла маятниковая ежедневная миграция. Теперь, указывает Агамбен, подтвердился его собственный тезис, высказанный в «*Homo sacer*» (Agamben, 1995), о том, что сегодня политической парадигмой Запада является поле, а не город. Крайняя степень изоляции и отчуждения горожан от пространства и друг от друга, хоть бы и через минимальный телесный повседневный контакт, не говоря о социальном, перенос всей коммуникации в Интернет, интенсифицировавшаяся цифровизация всех сфер жизни сделали город не просто пространством, рождающим отчуждение и аккумулирующим его в своей семантике и структуре, а пространством отчуждения, которое под ударом глобальной катастрофы утратило смысл своего существования. При этом Джорджо Агамбен не фиксирует потребность людей создавать более локальные пространственные сообщества, чтобы окончательно не утрачивать



социальный опыт взаимодействия с другими членами общества. В глобальной сети это могут хотя бы сообщества многоквартирного дома, квартала, района – тех областей, перемещение в границах которого в период пандемии было допустимо и который мог быть более-менее автономным от других. Межличностные связи в таких сообществах более близкие и прочные, чем в формальных профессиональных или общегородских объединениях, которые формировали идентичность современного горожанина до пандемии.

Выводы

Основываясь на анализе опыта фиксации и артикуляции отчуждения в городской среде на территории Италии, можно заключить следующее: во-первых, история городской культуры фиксирует присутствие специфического отчуждения, характерного для обитания индивида в городском пространстве с момента появления города и соответствующей ему субъектоцентричной городской культуры. Во-вторых, территория Италии представляет собой богатый «материал» для нашего исследования и вероятных дальнейших, так как на протяжении XX столетия страна пережила случаи своей максимальной альтернативности – она стояла перед историческим выбором и резким переделом сил и власти, поздно получила возможность к национальному объединению, что обеспечило ей длящееся состояние общественной нестабильности, отразившееся в социальном и топографическом пространстве городов. В-третьих, немаловажно, что в современном городе наибольшую значимость имеет именно проблема самоотчуждения субъекта, отчуждающего себя в результатах собственной деятельности в пространство надличностных, бессознательных структур, созданных им самим, являющихся продуктом культуры. Таким образом, в городе на протяжении всей истории его существования активно функционировали культурные практики признания / отторжения в городской среде – удаление старых границ, формирование новых границ и сред с другой семантикой и функцией на месте старых. Взаимодействие субъекта с пространством происходит через реализацию двух противоположных процессов – присвоения (инклюзия) или отчуждения (эксклюзия).

Городская среда на разных исторических этапах в большей или меньшей степени оказывала влияние на человека, что закономерно привело городскую цивилизацию к глобализации, проблемам мегаполисов и выработке новых паттернов жизни в дигитальной среде, также родившейся в городе – по словам культуролога В. Куренного «анализ городской культуры – это принципиальный фокус рассмотрения современной культуры как таковой» (Куренной, 2014). Во второй половине XX-начале XXI века, а это принципиально новый период в истории городской культуры, происходит переход от пространства мест к пространствам потоков, где города утрачивают свою локальность, идентичность, а горожане отчуждаются не только от других, но и от самих себя, через

свой образ. В современной глобальной культуре, объединенной единым информационным полем, идет процесс размывания границ и повышения их прозрачности. Экономические процессы, территориальная общность (географическая, биологическая, геологическая и другие) и схожесть проблем, возникающих из этой общности, делают барьеры прозрачными, а по сути, полностью устраняют их для жителей приграничных территорий. Но в то же время мы видим обратную реакцию: попытки установить границы, создать запретные зоны для выяснения собственной идентичности. Потеря конфликта (исключения) с тем, что есть Другой, и он находится по ту сторону границы, может рассматриваться субъектом как угроза чувству собственной идентичности. А развитие отчуждения и процессов эксклюзии есть противоположность механизму социальной идентификации.

До-городская культура основана на формировании отношения человека к месту, очеловечивания окружающего пространства, граница своего и чужого, частного и общего не так устойчива и надежна, индивид находится теперь в состоянии культурной пограничности. А пространство потоков рождено гиперурбанизацией – города перерастают свои собственные пределы и перестают быть городами в классическом понимании, с внутренне упорядоченными пространствами, утрачивают структуру центра и границ, горожане лишаются прочной связи с местом, прежние места становятся не-местами, как указывал М. Оже (2017). На первый план в городской реальности XXI века во всем мире, и в Италии в частности, выходит не оппозиция город / деревня, как в предыдущие этапы развития городской культуры, а оппозиция город / агломерация или город / мета-город, объединяющий несколько центров и поселений, объединенных одной экономической и цифровой средой. Таким образом, возникнув тысячелетия назад, городская социализация как тип взаимодействия индивидов уже на протяжении долгого времени одним из своих значительных эффектов имеет отчужденность индивидов друг от друга, отчужденность между индивидом и средой, между средой и метафизическим образом.

И если город – тотальное пространство отчуждения, то Другие в нем, от которых субъект отчуждается – это тот фундамент, который конституирует возможность наличия идентичности, делает недифференцированные пространства городами. Выход из бесконечного круга отчужденности в городской среде некоторые исследователи видят в возможном пост-городском будущем, где город спланирован человеком так, что он сам создает и «разрешает», признает запретные зоны, в которых можно «играть» и экспериментировать с пересечением и обновлением границ или миров, для формирования идентичности вновь «на месте», в пространстве, созданном специально, а не побочно, для интерпретации человеком. (Pirni & Nikolaeva, 2019) Новый виток развития проблемы отчужденности в современных городах определяется интенсивным осознанием различия, разнообразия и инаковости,



а также дает контекстуально новое подтверждение необходимости горожанину определить (и переопределить) себя.

Список литературы

- Agamben, G. (1995). *Homo sacer: Il potere sovrano e la nuda vita* [Homo sacer: Sovereign power and bare life]. Einaudi. (In Italian).
- Agamben, G. (2021). *Quando la casa brucia* [When the house burns down]. Quodlibet. <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-quando-la-casa-brucia> (In Italian).
- Bialasiewicz, L. (2009). Europe as/at the border: Trieste and the meaning of Europe. *Social & Cultural Geography*, 10(3), 319–336. <https://doi.org/10.1080/14649360902756655>
- Coccia, E. (2020, April 21). *Reversing The New Global Monasticism*. Fall semester. <https://fallsemester.org/2020-1/2020/4/17/emanuele-coccia-escaping-the-global-monasticism>
- Nikolaeva, Zh., & Troitskiy, S. (2018). An Introduction to Russian and International Studies of Cultural Exclusion Zones: An Analytical Overview of Recent Concepts. *Rivista Di Estetica*, 67, 3–19. <https://doi.org/10.4000/estetica.2482>
- Pirni, A. (2020). Exclusion, Transition, and Recognition: Normative Archetypes for Crossing Urban Social Spaces. *Journal of Frontier Studies*, 5(1), 29–39. <https://doi.org/10.46539/jfs.2020.1.2939>
- Pirni, A., & Nikolaeva, Zh. (2019). *Confini e zone di esclusione nella civiltà urbana contemporanea. Spunti per una riflessione interdisciplinare* [Boundaries and zones of exclusion in contemporary urban civilization. Suggestions for an interdisciplinary reflection]. *Cosmopolis*. <https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XV122018&id=14> (In Italian).
- Августин Блаженный. (1998). Творения. Т. 4. О Граде Божием (С. И. Еремеева, Ред.). Алетея.
- Бавильский, Д. В. (2020). Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах. Новое литературное обозрение.
- Бахтин, М. М. (1990). Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Художественная литература.
- Белов, А. (2007). Квадратный Колизей, или Метафизика формы Дворец цивилизаций в EUR XXI–MMVII. Журнал «Проект классика». http://www.projectclassica.ru/v_o/21_2007/21_2007_o_04a.htm
- Бродель, Ф. (2007). Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1: Структуры повседневности: Возможное и невозможное. Весь мир.
- Вахштайн, В. С. (признан СМИ, выполняющим функции иностранного агента) (2014). Пересборка города: Между языком и пространством. *Социология Власти*, 2, 9–38.
- Вирно, П. (2013). Грамматика множества: К анализу форм современной жизни. Ад Маргинем.
- Вяземцева, А. А. (2018). Непостроенный Рим Бенито Муссолини. Журнал «Искусство», 3. <https://iskusstvo-info.ru/nepostroennyj-rim-benito-mussolini/>
- Глазычев, В. Л. (1984). Социально-экологическая интерпретация городской среды. Наука.
- Гончаренко, Н. М. (2020). Город в искусстве Италии первой половины XX века: Не только футуризм. *Искусство Евразии*, 1, 239–261. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2518-7767.2020.01.018>

- Де Серто, М., & Космарский, А. (2008). По городу пешком. *Социологическое обозрение*, 7(2), 24–38.
- Куренной, В. А. (2014). Городская культура. Постнаука. <https://www.youtube.com/watch?v=Pqz-sqDbTmo>
- Марков, Б. В. (1999). *Храм и рынок. Человек в пространстве культуры*. Алетейя.
- Маркс, К. (1974). Экономическо-философские рукописи 1844 г. В *Сочинения* (Т. 42, сс. 41–174). Политиздат.
- Николаева, Ж. В., Троицкий, С. А., & Царев, А. О. (2018). Проблемы идентичности в зонах культурного отчуждения городской среды. *Studia Culturae*, 37(3), 92–111.
- Николаева, Ж. В., & Троицкая, А. А. (2020). Дискурс об идентичности как способ осмысления городского пространства. *Журнал Фронтирных Исследований*, 5(1), 11–28. <https://doi.org/10.46539/jfs.2020.1.1128>
- Оже, М. (1999). От города воображаемого к городу-фикции (В. Мизиано, Пер.). *Художественный журнал Moscow art magazine*, 24. <http://moscowartmagazine.com/issue/75/article/1623>
- Оже, М. (2017). *Неместа. Введение в антропологию гипермодерна*. Новое Литературное Обозрение.
- Савенкова, Е. В. (2007). Город: История отчуждения. *Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология*, 1, 82–92.
- Седов, В. В. (2010). Архитектурный футуризм. Взгляд Паоло Мартеллотти. МУАР.
- Сидди, Н. (2018). Город прото-дигитальной эпохи. *Studia Culturae*, 37, 154–163.
- Стрельцова, А. (2018). Призрачные города долины Беличе. *Журнал «Искусство»*, 4. <https://iskusstvo-info.ru/prizrachnye-goroda-doliny-beliche/>
- Трубина, Е. Г. (2011). Город в теории: Опыты осмысления пространства. Новое литературное обозрение.
- Уланский, А. А. (2019). Архитектура Италии в пропагандистской политике фашистского государства. *Манускрипт*, 1, 162–165. <https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.1.34>
- Эко, У. (2006). *Отсутствующая структура: Введение в семиологию*. Симпозиум.

References

- Agamben, G. (1995). *Homo sacer: Il potere sovrano e la nuda vita* [Homo sacer: Sovereign power and bare life]. Einaudi. (In Italian).
- Agamben, G. (2021). *Quando la casa brucia* [When the house burns down]. Quodlibet. <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-quando-la-casa-brucia> (In Italian).
- Auger, M. (1999). From the Imaginary City to the Fiction City (V. Misiano, Trans.). *Moscow art magazine*, 24. <http://moscowartmagazine.com/issue/75/article/1623> (In Russian).
- Auger, M. (2017). *Nemesta. Introduction to the Anthropology of Hypermodernity*. New Literary Review. (In Russian).
- Augustine the Blessed. (1998). *Creations. T. 4. On the City of God* (S. I. Yermeeva, Ed.). Aletheia. (In Russian).



- Bakhtin, M. M. (1990). *François Rabelais and the Popular Culture of the Middle Ages and Renaissance*. Khudozhestvennaya Literatura. (In Russian).
- Bavilsky, D. V. (2020). *The Desire to Be a City. An Italian Travelogue of the Twitter Age in Six Parts and Thirty-Five Cities*. New Literary Review. (In Russian).
- Belov, A. (2007). *The Square Coliseum, or the Metaphysics of Form The Palace of Civilizations in EUR XXI-MMVII*. The Classics Project magazine.
http://www.projectclassica.ru/v_o/21_2007/21_2007_o_04a.htm (In Russian).
- Bialasiewicz, L. (2009). Europe as/at the border: Trieste and the meaning of Europe. *Social & Cultural Geography*, 10(3), 319–336. <https://doi.org/10.1080/14649360902756655>
- Brodel, F. (2007). *Material Civilization, Economy, and Capitalism, Fifteenth and Eighteenth Centuries*. T. 1: *Structures of Everyday Life: Possible and Impossible*. Ves Mir. (In Russian).
- Coccia, E. (2020, April 21). *Reversing The New Global Monasticism*. Fall semester.
<https://fallsemester.org/2020-1/2020/4/17/emanuele-coccia-escaping-the-global-monasticism>
- De Certeau, M., & Kosmarsky, A. (2008). Around town on foot. *Sociological Review*, 7(2), 24–38. (In Russian).
- Eco, U. (2006). *Missing Structure: Introduction to Semiology*. Symposium. (In Russian).
- Glazychev, V. L. (1984). *Social and Environmental Interpretation of the Urban Environment*. Nauka. (In Russian).
- Goncharenko, N. M. (2020). The City in the Art of Italy in the First Half of the 20th Century: Not Only Futurism. *Art of Eurasia*, 1, 239–261. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2518-7767.2020.01.018> (In Russian).
- Kurnyi, V. A. (2014). *Urban culture*. PostScience. <https://www.youtube.com/watch?v=Pqz-sqDbTmo> (In Russian).
- Markov, B. V. (1999). *The Temple and the Market. Man in the Space of Culture*. Aletheia. (In Russian).
- Marx, K. (1974). *The Economic and Philosophical Manuscripts of 1844*. In *Works* (Vol. 42, pp. 41–174). Politizdat. (In Russian).
- Nikolaeva, J. V., & Troitskaya, A. A. (2020). Discourse on Identity as a Way of Understanding Urban Space. *Journal of Frontier Studies*, 5(1), 11–28. <https://doi.org/10.46539/jfs.2020.1.1128> (In Russian).
- Nikolaeva, J. V., Troitsky, S. A., & Tsarev, A. O. (2018). Identity Problems in the Zones of Cultural Exclusion of the Urban Environment. *Studia Culturae*, 37(3), 92–111. (In Russian).
- Nikolaeva, Zh., & Troitskiy, S. (2018). An Introduction to Russian and International Studies of Cultural Exclusion Zones: An Analytical Overview of Recent Concepts. *Rivista Di Estetica*, 67, 3–19. <https://doi.org/10.4000/estetica.2482>
- Pirni, A. (2020). Exclusion, Transition, and Recognition: Normative Archetypes for Crossing Urban Social Spaces. *Journal of Frontier Studies*, 5(1), 29–39. <https://doi.org/10.46539/jfs.2020.1.2939>
- Pirni, A., & Nikolaeva, Zh. (2019). *Confini e zone di esclusione nella civiltà urbana contemporanea. Spunti per una riflessione interdisciplinare [Boundaries and zones of exclusion in contemporary urban civilization. Suggestions for an interdisciplinary reflection]*. Cosmopolis.
<https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XV122018&id=14> (In Italian).

- Savenkova, E. V. (2007). The City: A History of Alienation. *Vestnik of the Samara Humanitarian Academy. Series: Philosophy. Philology*, 1, 82–92. (In Russian).
- Sedov, V. V. (2010). *Architectural Futurism. Paolo Martellotti's view*. MUAR. (In Russian).
- Siddy, N. (2018). The City of the Proto-Digital Era. *Studia Culturae*, 37, 154–163. (In Russian).
- Streltsova, A. (2018). Ghost Towns of the Beliche Valley. *Art Journal*, 4. <https://iskusstvo-info.ru/prizrachnye-goroda-doliny-beliche/> (In Russian).
- Trubina, E. G. (2011). *The City in Theory: Experiments in Making Sense of Space*. New Literary Review. (In Russian).
- Ulansky, A. A. (2019). The Architecture of Italy in the Propaganda Policy of the Fascist State. *Manuscript*, 1, 162–165. <https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.1.34> (In Russian).
- Vakhshtayn, V. S. (Recognized as a Foreign Agent Media) (2014). Reassembling the City: Between Language and Space. *The Sociology of Power*, 2, 9–38. (In Russian).
- Virno, P. (2013). *Grammar of the Multitude: Toward an Analysis of the Forms of Modern Life*. Ad Marginem. (In Russian).
- Vyazemtseva, A. A. (2018). The Unbuilt Rome of Benito Mussolini. *Art Journal*, 3. <https://iskusstvo-info.ru/nepostroennyj-rim-benito-mussolini/> (In Russian).



Topographic Hierarchy: an Interdisciplinary Study of Mental Space in the Perspective of Topographic Preferences

Sergey A. Troitskiy (a) & Alexey O. Tsarev (b)

(a) Estonian Literary Museum. Tartu, Estonia. Email: [sergei.troitskii\[at\]folklore.ee](mailto:sergei.troitskii[at]folklore.ee)

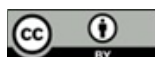
(b) St. Petersburg State University. Saint Petersburg, Russia. Email: [ilovenewwave\[at\]mail.ru](mailto:ilovenewwave[at]mail.ru)

Abstract

The article differs from the usual scientific articles, since it refers to the genre of the pre-project that is rarely published in journals related to the social sciences. The pre-project contains the results not of the study as a whole, but of its preparatory stage. A thorough study of the hypothesis, scientific problem, methods, research boundaries, as well as the possibility of object transformation and practical applicability are developed before launching a research project and need extensive discussion from colleagues who are not involved in the research. It is important especially if the project claims to be global in scope. This article just offers to discuss the main provisions of the future study of topographic preferences. It is planned to start realization of the project from a study of the topographical preferences of large city residents. As main activities on this stage should be testing the main preliminary installations, improving the tools for collecting materials, building the parameters of the analysis in accordance with the first data received. As a result of this stage, the stage of practical verification of the theory, it is planned to get an idea of the preferences themselves and their motivators, to develop universal basic tools for identifying topographic preferences that are applicable for use in different cultures. The next stage should be the development of tools for studying the topographical preferences of migrants in order to identify the parameters that affect the choice of directions of migration flows. At this stage, it is planned to involve foreign colleagues to test methods, tools and hypotheses about the cross-cultural nature of mental maps and topographic representations. The published pre-project formulates the terminological apparatus of the planned project, indicates the markers of inclusion of toposes in mental maps, as well as factors affecting the configuration of the topographic hierarchy (a complex of topographic preferences).

Keywords

Topographical Preferences; Mental Map; Urban Trauma; Folklorization of Space; Center-Periphery



This work is licensed under a [Creative Commons "Attribution" 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Топографическая иерархия: междисциплинарное исследование ментального пространства в перспективе топографических предпочтений

Троицкий Сергей Александрович (a), Царев Алексей Олегович (b)

(a) Эстонский литературный музей. Тарту, Эстония. Email: sergei.troitskii@folklore.ee

(b) Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, Россия
Email: ilovenewwave@mail.ru

Аннотация

Статья отличается от привычных научных статей, поскольку относится к нечасто публикуемому в журналах по социальным наукам, жанру препроекта. В нем содержатся результаты не исследования в целом, а его подготовительного этапа. Тщательная проработка гипотезы, научной проблемы, методов, границ исследования, а также возможности трансформации объекта и практическая применимость разрабатываются перед запуском исследовательского проекта и нуждаются в широком обсуждении со стороны коллег, не вовлечённых в исследование, особенно если проект претендует на глобальный охват. Данная статья как раз предлагает к обсуждению основные положения будущего исследовательского проекта, посвященного топографическим предпочтениям жителей различных регионов. Основной фокус в исследовании сделан на предпочтениях прежде всего жителей крупных городов, чтобы опробовать основные предварительные установки, усовершенствовать инструменты сбора материалов, выстроить параметры анализа в соответствии с первыми полученными данными. В результате этого этапа, этапа практической проверки теории планируется получить представление о самих предпочтениях и их мотиваторах, разработать универсальные базисные инструменты выявления топографических предпочтений, применимые для использования в условиях различных культур. Следующим этапом должна стать разработка инструментов исследования топографических предпочтений мигрантов, чтобы выявить параметры, влияющие на выбор направлений миграционных потоков. На этом этапе планируется привлечь иностранных коллег для проверки методов, инструментов и гипотезы о кросскультурном характере ментальных карт и топографических представлений. В публикуемом препроекте формулируется терминологический аппарат планируемого проекта, указываются маркеры включения топосов в ментальные карты, а также факторы, влияющие на конфигурацию топографической иерархии (комплекса топографических предпочтений).

Ключевые слова

топографические предпочтения; ментальная карта; городская травма; фольклоризация пространства; центр-периферия



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons "Attribution" \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Вступление

Данная статья является результатом подготовительной теоретической разработки основных исходных положений исследования топографических предпочтений субъекта и потому носит полемический характер, предполагающий комментарии от коллег и научную критику. Именно поэтому данный текст заметно отличается от других научных статей, нарушая специфику жанра. Прагматической задачей данного текста является постановка проблемы, описание возможных направлений ее решения, фиксация локальной проектной терминологии, утверждение и завершение нулевого этапа исследования. Поскольку планируемое исследование предполагает глобальные масштабы, участие иностранных коллег и, в идеале, формулировку самостоятельной теории, совмещающей «субъективность» индивидуальных предпочтений и «объективность» совокупного картирования как результат сложения индивидуальных результатов. Исследование основывается на достижениях различных дисциплин, но в конечном итоге может быть реализовано только как социологическое, используя качественные и количественные инструменты сбора конкретного материала и анализа. Сама предполагаемая теория представляется сейчас, на предварительном этапе как междисциплинарная, позволяющая производить методологические и теоретические инклюзии в различные общественные науки.

В общем виде концепция топографической иерархии (в рамках которой предлагается рассматривать заявленную тему) сформулирована нами в 2017, затем уточнялась и дорабатывалась (Троицкий, 2017; Троицкий, 2019) в исследованиях зон культурного отчуждения и пограничья (ЗКОП) (Троицкий, 2015; Troitskiy, 2018; Nikolayeva & Troitskiy, 2018), а затем – зон культурного отчуждения крупных городов (Троицкий, et al. 2018; Царев, 2019).

Исходным положением концепции топографической иерархии является гипотеза о том, что на уровне субъекта существует система предпочтений топосов, которая, часто неосознанно, формирует *ментальную карту* наиболее привлекательных географических точек, – приоритетных направлений для миграции. Однако, эта гипотеза нуждается в уточнении и раскрытии как в ходе теоретической работы по разработке концептуального аппарата, так и эмпирически путем полевого исследования системы предпочтений и механизмов функционирования топографической иерархии.

В связи с этим планируется сперва решить ряд теоретических задач с тем, чтобы перейти далее к прикладной части исследования. К теоретическим задачам относится разработка теории топографической иерархии как основы для определения локальной миграционной и строительной политики как внутри городов (элементарными единицами тогда являются микрорайоны или «места» как городские топосы), так и внутри страны (в качестве топосов здесь выступают сами города и поселения). На макроуровне глобальных надна-

циональных и / или надгосударственных систем (Европейский союз, континент, глобальные культурные локации – Средняя Азия, Дальний Восток и пр.) может применяться многоуровневый анализ топографической иерархии, где в качестве топосов может выступать на высоком уровне обобщения – топос-государство, но конкретизация уровней будет умельчать и элементарные единицы – топосы. Вместе с тем следует иметь в виду, что в представлении субъекта, топосы разного уровня обобщения могут сосуществовать как равные элементы сравнения, урбанонимы могут сопоставляться с макротопонимами (Нью-Йорк и Китай, например, или Невский проспект и Америка).

Одна из важных задач проекта выработать механизм исследования топографической иерархии, выявляющий карту предпочтений субъектов и культурные репутации топосов, которые могут учитываться при принятии административных решений, связанных, например, с миграцией или градостроительством. Это позволит действовать наиболее эффективно, точно реагировать на запросы гражданского общества со стороны власти, избегая конфликтов и социальной напряженности. Такая теория позволит работать с конкретными общественными настроениями относительно пространства города или региона. Эта теория позволит выявлять культурные стереотипы, связанные с тем или иным топосом (местом) и учитывать их в городском и / или городском планировании (зонировании), снимая или снижая конфликтность между властными и общественными институтами. Также эта теория позволит работать с миграционными потоками, прогнозируя миграционную (демографическую) нагрузку на регионы, топосы, районы, исходя из топографических предпочтений мигрантов. Для решения этих задач наиболее эффективно используются социологические методы сбора данных и их анализа. На первоначальном этапе для проверки и корректировки рабочей гипотезы наиболее подходит, как нам кажется, специально разработанный опросник, позволяющий выявить факторы, существенные для построения топографической иерархии, а также представить исследуемое пространство в виде карты ментальных предпочтений. Исследование должно дать важный результат – структуру топографических предпочтений внутри города, определяет общественное мнение относительно городского зонирования, совпадают ли общественные интересы и административные решения; высветить конституирующую роль периферийных территорий в структуре топографической иерархии, а также в целом указать на диалектический характер отношения центр-периферия (в переосмысленном значении), скрывающий за собой комплекс обоюдных пространственных связей, инфраструктуры, антропологических и культурных практик, обосновывающих идеологически и прагматически существующее распределение экономических благ и власти.



Исследование пространства в перспективе городской географии

Интерес к той роли, которую играет пространство в социальных отношениях, неуклонно растет, начиная с 1980-х годов. Формирование исследовательских школ вокруг этого поля за рубежом во многом связано с постколониальным поворотом, инспирированным развитием критической теории. Постколониальная интерпретация территориального распределения власти восходит к трудам М. Фуко (Фуко, 2006а; Фуко, 2006b) и А. Лефевра (Лефевр, 2015), легших в основу таких исследовательских направлений как новая культурная география (Wiley 2018) и критическая география (Hubbard, et al., 2002).

Взаимная зависимость власти (как системы отношений) и ее фиксации в пространстве (топографии) позволили определить географию (науку) как «изучение борьбы за власть посредством введения феномена и события во время и пространство» (Hägerstrand, 1986, с. 43). Таким образом, благодаря Торстену Хагестранду география по сути рассматривается как философская дисциплина. География сближается не только с социологией, но и с историей. Такое сближение – своего рода возвращение к интеллектуальной традиции XVIII века с ее интересом к локальной истории (из нее вырастает краеведение с элементами локальной географии). Решение Хагестранда ввести в изучение пространства временной параметр позволило сделать предметом изучения географии прагматику событий, социальные изменения, влияние пространственного фактора (ограничение пространства) на изменения поведения и сущности субъекта. Модель время-географии позволяет отойти от социального конструктивизма и рассматривать человека не как пассивного субъекта, а как деятеля со своей жизненной траекторией (пространством-временем), в этом смысле географию по модели Хагестранда можно назвать субъектной. Неудивительно, что она совмещается, например, с аффективной феноменологией феминистской географии более поздних исследователей (Kwan, 2007; McQuoid & Dijst, 2012). Хагестранд утверждает, что изучение индивидуальных повседневных практик позволяет понять и объяснить более масштабные структуры (паттерны). Функциональный подход, демонстрирующийся этой школой, дает возможность сравнивать разноуровневые субъекты (например, государство и человека), исходя из их деятельностных функций (как акторов), которые не зависят от сложности и количества включенных элементов.

Марксистская география сыграла свою роль в становлении модели рассмотрения географических изменений в контексте социальных практик. Несмотря на то, что в рамках этого направления пространство поначалу понималось узко географически (как пространство фиксируемое картами), постепенно происходило расширение концептуального поля, что в свою очередь

позволило расширить понимание пространства и вывести дискуссию на новый уровень (радикальная география), во многом благодаря альтернативной трактовке в рамках феминистской критики классической модели географии и пространства, а также благодаря критике со стороны естественных наук, в частности, физики, использующей четырехмерную модель, в которой наблюдатель тоже оказывается включенным отдельным измерением (источником параметров). Такое включение, свойственное гуманитарным наукам изначально распространилось и на естественнонаучные дисциплины, в этом смысле, все науки оказались ближе друг к другу, чем когда-либо прежде, благодаря преодолению демаркации между пространством и временем в естественных науках (в науках о культуре это сделано теорией хронотопа). По мнению Дорин Мэсси (Massey, 1996, с. 69), важным результатом развития понимания пространства в четырехмерной модели стал отказ от плоскостности понимания его как цепи характеристик поверхности. Пространство в время-пространственной географии представляется как многоаспектная и многоуровневая система «плоскостей», определяющих и определяющихся поведением субъекта (человека, семьи, государства).

Однако наибольшее значение для дальнейшего исследования играет география эмоций (эмоциональная география), вырастающая на основе пространственно-временного подхода, с одной стороны, и различных освободительных стратегий в географии (феминистская, марксистская, радикальная и прочих), с другой. «Поскольку эмоции считались ненаучными, иррациональными, субъективными и женственными, они воспринимались как разрушающие объективную, маскулинную и научную природу генерирования знаний» (Rowland, 2014, с. 62). Поэтому вполне объясним интерес к эмоциям в географии только после того, как феминистская теория сняла условный запрет на них для исследователей, фактически обеспечив эмоциям эпистемологическое алиби. В результате, в 2000-х большое переформатирование всего гуманитарного дискурса связано было с интересом к аффективным проявлениям, поэтому и получило название «эмоционального поворота» в культурных исследованиях (Davidson, et al. 2007; Bondi, 2005; Моизи, 2010; Рагулина, 2017). Вместе с тем, можно констатировать, что как раз к 2000-х были выработаны методы работы с эмоциями, позволяющие включать их в научное знание без всяких оговорок. Однако следом за эмоциональным поворотом последовал «аффективный поворот» (Rowland, 2014; Николаи & Хазина, 2015), спровоцированный Найджелом Трифтом, который обратил внимание на недостаточность только эмоционального содержания. Указывая на большую роль спонтанных реакций и аффектов в поведении и принятии решений, он предлагал интерпретировать субъекты как тела, обладающие характеристиками физических проводников, передающих аффекты соседним телам (Thien, 2005; Thrift, 2004). Тогда аффекты могут быть изучены в перспективе исследования (городских) пространств, поскольку аффект «становится чем-то более похожим на сети



труб и кабелей, которые имеют такое важное значение для обеспечения базовой механики и основных структур городской жизни, [...] набора постоянно работающих реле и узлов, которые создают всевозможные эмоциональные истории и географии» (Thrift, 2004, с. 58). Подобная интерпретация в конечном итоге позволяет исследователю выявлять и анализировать факторы не только вербализируемые и рационализированные, но и существующие для субъекта бессознательно. В нашем исследовании мы привлекаем эмоциональную географию для понимания иррациональных мотиваторов топографических предпочтений (травматические переживания, подсознательных желаний и пр.) вдобавок ко вполне рациональным мотиваторам (работа, родственники, общая культура, знание языка и т.п.).

Центр и периферия в перспективе топографических предпочтений

Слабым местом постколониальной теории, поставившей проблему распределения власти в пространстве, остается принятие символического порядка, в котором центр и периферия определяются политически в смысле Фуко или в контексте административного деления. Поэтому нанесение на карту новых территорий, совершаемое как эмансипаторный жест, возможно только теми топосами, которые находятся в статусе центральных, что означает сохранение базового диспозитива «центр-периферия», в котором периферийный характер того или иного пространства оказывается непроявленным. Иными словами, теоретический дискурс, даже направленный против центра, только подтверждает и утверждает наличие иерархических отношений и акцентирован в первую очередь на том, что значит быть центром.

Однако признание себя периферией, принятие на себя этого статуса топосом означает закрепление за ним соответствующей культурной репутацией с ориентацией на центр, от которого ожидается первенство, доминирование. Центр выстраивается периферией. Даже если центр и не является фактическим законодателем (мод, правил, образцов), то периферия конструирует ситуацию такого законодательства. В этом смысле как центр, так и периферия – это культурные репутации, формирующих идентичности, «в которых растворены привычные понятия и образы жителей современных городов» (Троицкая, 2020, с. 347) и не только городов. Эссенциализм при исследовании пространства приводит к одностороннему акцентированию на практиках «центра» и экзотизации периферийных территорий до статуса квази-туземных (это, в частности, характерно для концепции внутренней колонизации А. Эткинда (2013)). Несмотря на сложившуюся научную традицию использовать в связке термины «центр» и «периферия» для указания на сущностные характеристики локаций, будь то экономическая география в изводе Дж. Фридмана (Friedmann, 1966) или мир-системный анализ Ф. Броделя (2006), А.Г. Франка

(Frank & Gills, 1994) или И. Валлерстайна (2001), мы понимаем отношение «центр/периферия» как ситуативное и контекстуальное – как часть языка описания субъекта, имеющего ментальную карту топографических предпочтений.

Современные исследователи фокусируются преимущественно на городском пространстве, включающем в себя и репутации места, поскольку оно, в отличие от негородского ярко выражено, легко вербализируется в сфере культурной/публичной репрезентации(?). Это обусловлено различными факторами, но все они связаны с отличиями деятельностных установок (активизм) у городского населения от сельского (Алексеевский, et al. 2010; Стась, 2020). Городская культура, в отличие от герметичной деревенской обращена вовне – туда, откуда город берет ресурс (миграционный, культурный и т. д.) для своего развития, поэтому наиболее активное население, стремящееся урбанизироваться, легко впитывается в городскую среду. Оно же и определяет особенности этой городской среды, принося собственные психологические, лингвистические, культурные черты, являющиеся основанием для корректировки имиджа (характера) города. Однако и в деревенской культуре все равно, возможно, менее ярко выражено, но существует представление о топографических предпочтениях, более того, в некоторых случаях она может быть Центром, например, для дауншифтеров.

Топографическая иерархия – это система взаимоотношений, которую мы будем описывать через дихотомию «центр/периферия», в которой статусы центра и периферии не являются строго зафиксированными за каким-либо топосом (топосами), а зависят от распределения функций. Также следует отметить, что наличие центростремительных и центробежных стремлений маркирует наличие топографической иерархии (системы топографических предпочтений).

Топографические предпочтения в ментальной карте

Политика «центра» предполагает формирование городского и, шире, внутригосударственного, пространства без учета особенностей представлений о конкретных топосах в культуре, т.е. без учета культурных репутаций топосов и определяемых культурными репутациями топографических предпочтений. Система таких ментальных представлений формирует у каждого субъекта собственную ментальную карту. Как правило, единство культурного опыта, норм, стереотипов и т.п. у субъектов, проживающих длительное время совместно, приводит и к совпадению ментальных карт и топографической иерархии (системы предпочтений).

Для выявления пространственных представлений на субъектном уровне и во избежание замены субъектных переживаний пространства на политические, идеологические, исследовательские и пр. ожидания Кевином Линчем (Lynch,



1960) был предложен метод описания пространства с помощью ментальных карт, сопоставляющий географические условия с действиями человека. В изображении города Линч использовал простые наброски карт городского района, созданных субъектом по памяти. Благодаря фокусировке на внутреннее переживание пространства субъектом, исследователь получает акцент на социальные факторы. Аффективная география показывает, как внутреннее переживание пространства превращается в «социальное», поскольку аффекты передаются к ближайшим телам как электрические разряды от проводников к проводникам (Thrift, 2004). Бин Ян утверждал, что образ города (или ментальная карта) возникает из масштабирования городских артефактов и локаций (Jiang, 2012).

Развивая методологию К. Линча, Хакен и Португали разработали информационный взгляд, который утверждал, что лицо города – это информация (Haken & Portugali, 2003), передающаяся через различные артефакты и включающая в себя «и «объективную» информацию в понимании Шеннона и «субъективную» семантическую информацию» (Portugali, 2011, с. 167)¹. Речь идет о вероятностной концепции информации К. Шеннона, согласно которой чем выше вероятность получить сообщение, тем менее оно информативно для получателя (Shannon 1948; Shannon, 1949). Таким образом, чем более неожиданным и новым является сообщение, тем больше оно будет усвоено. Такая аффективная составляющая коммуникации, заключенная в неожиданности и новизне, позволяет артефактам представляться Местами в городе. В результате такого сочетания «объективной» и «субъективной» информации оказывается, что общие принципы организации пространства города несут меньше информации о нем, чем локальная уникальная символическая информация (Portugali, 2011, с. 185-186), делающая город неповторимым и освоенным на ментальном уровне, на уровне ментальных карт.

Как правило, исследование городского пространства (и в целом жизненного пространства субъекта) не учитывает комплекс субъектных представлений о пространстве, стереотипов, предрассудков, распределения ценностей между топосами, культурных репутаций и т.п., влияющему на систему предпо-

1 В качестве объяснения, что они имеют в виду под таким сочетанием, авторы приводят конкретные примеры, в которых «объективный» уровень сведен к тому, как место представляется геометрически, а «субъективный» – к тому, какая семантика в нем заключена: «Балкон Джульетты в Вероне, на котором, согласно пьесе Шекспира, Джульетта стояла и разговаривала с Ромео, является главной точкой отсчета в Вероне не из-за его выдающейся геометрии или даже из-за его истории, а из-за истории, связанной с ним. То же самое можно сказать о Виа Долороз в Старом городе Иерусалима или Бодхгае в северной Индии; говорят, что дерево Бо, растущее там, является прямым потомком первоначального дерева, под которым сидел Будда, когда он был впервые просветлен. Каждый из этих элементов, конечно, имеет геометрию: мемориал Рабина и балкон Джульетты – это точки, Виа Долороз – это дорога, в то время как Бодхга – это геометрически то, что Линч назвал «районом». Но то, что делает такие элементы ориентирами, путями, краями и узлами, – это не их геометрия и внешний вид, а значение, придаваемое им – их семантический вид, если хотите» (Portugali, 2011, с. 170).

чтений и, наоборот, отчуждения топосов. Исходное положение для исследования факторов, определяющих топографическую иерархию, сводится к тому, что на зонирование пространства влияют культурные стереотипы. Однако как их выявить?

Ментальная топография как география мест

Субъектность как исходная установка исследования задает и форму, в которой может быть представлены результаты: мы изучаем субъекта, его желания, стремления, предпочтения, с тем чтобы, соединив индивидуальные показатели, получить обобщенный образ пространства, в котором обитают субъекты. Поэтому одним из важных методологических ходов нашего исследования является выявление культурной репутаций места, т.е. идеологической конструкции, собирающей значимые точки пространства в жизненное пространство субъекта. Благодаря такому подходу можно построить ментальные карты, при объединении которых мы сможем получить представление о городской среде как среде обитания субъектов.

При таком взгляде проблема толкования пространства получает феноменологическое измерение, указывающее на то, как субъект укоренен в пространстве. Другими словами, феноменологическая география оказывается единственным источником методологических установок для рассмотрения пространства через призму «места», которое в отличие от предыдущей традиции приобретает новое определение, что изменяет и исследовательские стратегии в отношении пространства в целом. Теперь «место — это скорее объективные и субъективные связи человека с частью пространства, «делающие» его местом, чем его географические координаты» (Скопина, 2013, с. 67). Такое представление о месте позволяет работать с ментальными картами, которые не отражают все топосы, но фиксируют значимые для субъекта точки пространства, т.е. места. Они в глазах субъекта обладают собственным «лицом», значение, а значит, и для субъекта становятся источником идентичности. Однако, чем являются в этом случае те топосы, о которых принято думать, что они обладают значением, но при этом в ментальной карте субъекта не отражены? В соответствии с определением Марка Оже, можно назвать их не-местами («Если место может быть определено как создающее идентичность, формирующее связи и имеющее отношение к истории, то пространство, не определяемое ни через идентичность, ни через связи, ни через историю, является не-местом» (Оже, 2017), но Оже стремится с помощью этих, казалось бы, противоположных терминов «место» и «не-место», все-таки установить сущностные характеристики самой точки пространства, найти в этих характеристиках способность этой точки (места или не-места) наделять идентичностью субъекта. В этом смысле неспособность не-места быть источником идентичности для субъекта является таким же активным признаком конкретной



точки пространства, как и способность места быть таковым, а вовсе не отсутствием признака, как это происходит с ментальными картами. Иными словами, позиционирование того или иного топоса в качестве места или, напротив, не-места отдается на откуп субъекту. В этом смысле отсутствие топоса не делает его не-местом по факту, более того, историю, которая принимается в качестве достаточного основания для определения места в концепциях Оже или Нора (Оже, 2017; Nora, 1984; Нора, 1999)¹, следует признать проблемным понятием, которое, вероятно, корректнее было бы именовать личным опытом, далеко не всегда осознаваемым. а В то же время *предки*, следы которых, согласно Оже, должны определять место, оказываются не представлены в ментальной карте, кроме тех случаев, когда смерть конкретного предка ощущалась как значимая (или целенаправленно и рационально возводилась в статус значимой) и была связана с конкретной точкой пространства. Субъект, вынужденный выводить из неосознаваемых глубин психики значимые для него места на карту, пусть и на индивидуальную, превращая их в «ментальные топосы» (более корректный в этом случае термин, чем «места»), тем самым приобретает себя, осознает себя, идентифицирует себя как укорененного в пространстве. Не указанные субъектом точки пространства, но являющиеся «местом» или «не-местом», т.е. обладающие топографической значимостью, хотя и не значимые для субъекта, можно обозначать как «пустоты» (Троицкая, 2020), но поскольку из-за графического совпадения с привычным обозначением отсутствия это может вызвать путаницу, мы предлагаем называть их «ментальные купюры», а неосознанное игнорирование при ментальном картировании значимых для социума «мест» – «ментальным купированием» пространства.

«Места» приобретают свою идентичность, свои характеристики для субъекта благодаря культурной репутации, но актуализируются (становятся явными для субъекта) в ментальной карте они постольку, поскольку предполагают (возможное) передвижение в них или из них как самого субъекта, так и значимого для него Другого. Например, в случае страха перед Чужим, который закреплен в представлении субъекта за конкретным топосом, страхом, аналогичным архаической боязни чужого-сильного, выраженной в фольклоре (Троицкий, 2011). Одним из способов преодоления страха является освоение этого чужого пространства, включения его в собственную ментальную карту. Это, конечно, частный случай мотивации учесть место при ментальном картировании и мотивации к путешествию, но нас интересует движение (миграция) в общем своем свойстве делать точки пространства видимыми, делать их местами. Неудивительно, что «пространственная метафора завладела воображением социальных ученых столь прочно, что сегодня трудно найти работу на тему мигрантов в городе, в которой не фигурировали бы слова 'пространство' и 'территория'» (Малахов, 2020, с. 562). Фокус, который часто предполагается

1 Антропологическое место Марк Оже противопоставляет «местам памяти» Пьера Нора.

при исследовании миграции, отличается от нашего, поскольку мы намеренно и последовательно отказываемся от эссенциалистского подхода при изучении пространства, показывая значимые места именно в связи с субъектом, для которого они значимы. Поэтому мы усматриваем причины предпочтений тех или иных мест, исходя не из каких-либо сущности самой точки пространства, а исходя из того, что она стала местом для субъекта, исходя из того, что субъект ощущает какой-либо топос как место притяжения или место предпочтения.

В случае с ментальными картами уровень топографической конкретности может не соблюдаться при соотнесении между акцентированными местами, т.е. на одной карте может быть предельно конкретная точка пространства, например, место проживания (годоним или агороним), и достаточно абстрактный макротопоним, например, Европа, Восток или что-то подобное, которые для субъекта являются одинаково актуальными¹. Однако кажется важным при создании исследовательских инструментов (опросник, сценарий интервью и т.п.) все-таки соблюдать единство уровня конкретности. С другой стороны, при всестороннем обследовании субъекта на предмет предпочтений можно пренебречь различиями между механизмами формирования и влияния на поведение субъекта его топографической иерархии на разных уровнях конкретности, что позволит распространить результаты исследования механики предпочтений топосов внутри города на общегосударственные или, скажем, на общеевропейские. Это объясняет, почему мы предполагаем в качестве первого этапа исследовать городскую среду, ментальную карту города у жителей, как коренных, так и приехавших недавно.

Здесь возникает проблема соотношения границ внутри города и границ между государствами, поскольку в первом случае эти границы условны и существуют, скорее, как рубежи (boundaries), которые не всегда можно даже точно установить, то вторые – четко установленные, находящиеся под охраной, в любой момент способные закрыться границы (borders), являющиеся часто еще и границами между порядками (культурами) (Ульрих & Троицкий, 2019). Для преодоления и тех и других требуется решимость, но совершенно различной силы. Однако мы изучаем не миграцию, а топографическую иерархию, т.е. то, как места выстраиваются по степени предпочтений, поэтому именно в данном фокусе различия границ теряют свои различия.

1 В пьесе А.Н. Островского «За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова)» сон Бальзаминовой прекрасно иллюстрирует, как работает механизм наделения абстрактных концептов конкретным (значимым для субъекта) содержанием, преимущественно построенный на ассоциациях с известными субъекту конкретными явлениями: «Только за мостом — вот чудеса-то! — будто Китай. И Китай этот не земля, не город, а будто дом такой хороший, и написано на нем: «Китай». Только из этого Китая выходят не китайцы и не китайки, а выходит Миша и говорит: «Маменька, подите сюда, в Китай!» Вот будто я собираюсь к нему идти, а народ сзади меня кричит: «Не ходи к нему, он обманывает: Китай не там, Китай на нашей стороне». Я обернулась назад, вижу, что Китай на нашей стороне, точно такой же, да еще не один. А Миша будто такой веселый, пляшет и поет: «Я поеду во Китай-город гулять!»»



В связи со всем этим важность приобретают те методы, которые позволяют определить значимые места, т.е. кажется необходимым выявить, какие механизмы наделения значимостью на субъектном уровне наиболее эффективны.

«Захваченный» город¹: подготовленность инфраструктуры

Миграция, побочный продукт перераспределения капитала, направлена в те точки пространства, куда направлены финансовые потоки, при этом чем менее конкретным является представление о приоритетном топосе, тем менее точным является попадание в место, куда эти потоки направлены. И это касается не только мигрантов внешних (из других государств), но и внутренних (из других регионов своего государства), и вполне справедлив призыв «снять этнические очки» (Малахов, 2020, с. 564) в отношении миграции, а противопоставление местное население – мигранты (понаехавшие) является очень условным, потому что кого отнесут к категории местных, «а кого из нее исключат, зависит от того, какие агенты социального поля обладают символической властью, позволяющей навязать определенное видение «общества» (Малахов, 2020, с. 565).

Как бы там ни было, намеренная социальная локализация мигрантов («они носители другой культуры») приводит к перестройке и геттоизации привычного пространства, что способствует и перераспределению значимости конкретных топосов для субъектов, однако, как показывают исследования российских городов, там по различным причинам специфических этнических гетто не формируется (Малахов, 2020), то же и с другими элементами мигрантской инфраструктуры. Очень быстрая перекройка социальных страт на стыке 1980-1990-х, отсутствие «среднего» класса, особенности жилищной приватизации и различные ограничения, связанные в том числе и с сохранением культурно-исторического облика российских городов, не способствовала появлению расслоению городского пространства по экономическому признаку, а различия между районами весьма условны. Другими словами, жилой фонд «для бедных» размазан по всему городу, а не сконцентрирован в конкретных его частях, что не способствует геттоизации. Тем не менее, существуют места с наиболее сложившейся мигрантской инфраструктурой – культовые сооружения, национальные места памяти, рынки. Здесь общественные пространства осваиваются мигрантами наиболее эффективно, о чем свидетельствует визуальный ландшафт вокруг этих локаций (Григоричев, 2020, с. 599-600). Хотя говорить о том, что иммигранты – это единственные Другие (Чужие) в городе, не корректно. Пространство и способ функционирования города построен на анонимности, благодаря которой даже «коренные» жители, т.е. потомки мигрантов из деревень или других городов, выступают

1 Термин из работы П. Григоричева (2020).

как незнакомцы. «Города принято называть местом, где встречаются незнакомцы, где они остаются вблизи друг друга и где они взаимодействуют друг с другом на протяжении долгого времени, не переставая при этом оставаться незнакомцами» (Бауман, 2008, с. 26).

Процесс освоения пространства и маркировка его свойственен всем социальным группам и субкультурам, и не только в городах. Однако видимость маркеров освоенности пространства конкретной социальной группой в визуальном ландшафте прямо пропорциональна отличиям этой группы от всех остальных («аборигенов»). В контексте исследования топографической иерархии привлекательность конкретной точки пространства зависит от степени ее освоенности социальной группой, к которой принадлежит субъект, поскольку места коммуникации (культовые постройки, места памяти, узлы потребления) этой группы организуют ее существование, а значит, обеспечивают центростремительную тенденцию вокруг себя. При ментальном картировании эти значимые для социальной группы, к которой принадлежит субъект, места с необходимостью проявляются (фиксируются) в качестве значимых, привлекательных, в качестве Центров. Так, города, в которых наибольшая национальная диаспора привлекают еще большее количество представителей этой национальности по сравнению с городами, где такая диаспора не сложилась. Важным для исследователя результатом является выявление процессов маркировки пространства как непосредственно на местах – что дает возможность другим субъектам опознавать пространство как наделенное семантическими значениями, – так и, например, в языке, тоже производя разметку вокруг себя. Процесс маркировки, которая позволяет выявить значимые места для субъекта, а значит, и зафиксировать факт формирования пространственных предпочтений (значимых мест), мы называем фольклоризацией, поскольку маркировка производится, а результаты маркировки распространяются между субъектами, как элементы (пост)фольклора, поэтому и являются, как правило, объектом исследования фольклористов.

Фольклоризация

Поскольку мигрируют, как правило, наиболее активные, а терять им в месте иммиграции нечего, они наиболее нацелены на результат, а потому именно они наиболее кардинально и наиболее быстро меняют социальный и пространственный ландшафт, подстраивая его под себя и изменяя его снова и снова по мере изменения статуса (ассимиляции, например). Эти изменения отражаются и в топонимике, и в топографической иерархии, т.е. ранее совершенно не притягательное место со сменой статуса его обитателей может стать, наоборот, приоритетным для субъекта, возглавить локальную (в пределах региона) топографическую иерархию. В ментальной карте эти изменения также отражаются, поскольку важным маркером переоценки значимости мест



является их переназывание в повседневном обиходе. Некоторые данные приезжими в ходе освоения пространства названия усваиваются социумом и становятся общеупотребимыми.

Освоение нового пространства для приезжих является одной из важных задач, связанных с адаптацией, но результаты освоения всегда находят отражение в представлениях и в языке. Процессы переосмысления мифов места (топонимические легенды и предания) (Кравцов & Лазутин, 1983; Соколова, 1972; Бунчук, 1998; Трубе & Пономаренко, 1969), наделения новыми мифами уже имеющихся топонимов, формирования неофициальной топонимики являются обычными не только для приезжих, но и для местных жителей. Диалектная фразеология с топографическими компонентами, как и городская мифология (топонимические легенды), которая обычно находит отражение в неофициальной топонимике (Подюков, 2015), является поэтому одним из маркирующих эффективность освоения пространства, как близкого, так и далекого, а потому абстрактного. В процессе ассимиляции приезжих, обмена результатами культуротворчества неофициальные топонимы, или регионимы (Шарипова, 2012)¹, созданные приезжими, иногда с утилитарными целями приспособить имеющиеся названия к собственным фонетическим нормам, остаются в повседневной речевой практике в качестве как неофициальных, так и позже – официальных топонимов. «Люди придумывают неофициальные топонимы для того, чтобы иметь свои местные ориентиры. Как правило, регионимы возникают стихийно. При передаче из уст в уста они либо приживаются в речевом узусе, либо видоизменяется в процессе речи» (Шарипова, 2012, с. 204), распространяясь по мере превращения их из локальных названий в общеупотребимые внутри региона. Как правило, неофициальные топонимы могут соперничать по частотности употребления с официальными, являясь в то же время маркером того, что точка пространства является местом, значима для субъектов независимо от уровня конкретности объектов: это может быть микротопоним (конкретное заведение или постройка) (Абдрахманова, 2017), а может быть улица или район (например, в Ленинграде 1980-х можно было услышать в одной фразе «Сайгон» (кафетерий) и Купчино (район города) или Северо-Запад (часть города), употребляемые как однопорядковые урбонимы). Это происходит потому, что топонимика имеет отношение «к реализации языковой картины мира» (Горбаневский, 1996, с. 7), в которой подобная разноразмерность в прагматике топонимов вполне нормальна и показывает имеющуюся ментальную разметку территории в соответствии со значимостью, с представлением о местах и не местах. Неофициальная топонимика доста-

1 Терминологическая проблема в отношении этих топонимов стоит достаточно остро. Например, термин псевдотопонимы, который в работе Л. Успенского «Загадки топонимики» (Успенский, 1969) используется для описания неофициального топонима Муффрика, придуманного голландцами для обозначения Ганновера, в некоторых других исследованиях приобретает значение «географические объекты (в основном реки и названные их именами территории), на реальной карте не существующие», т.е. в значении квазитопонимов, да еще и авторство термина приписывается Д. Ревякину (Сухих, 2008).

точно хорошо изучена на материале (крупных) городов (Химик, 2000; Ахметова, 2011), хотя и встречается везде, где живут люди.

В нашем исследовании кажется важным отметить факт освоения пространства с помощью стихийного называния, поскольку регионимы – верный признак значимости места для конкретного субъекта, включенности топонима в жизненные траектории субъекта, а значит, и в ментальную карту. Кроме того, они сохраняют в себе определенную логику языка, построенную не только на синтактике, но и на прагматике речевых практик.

Фольклоризация пространства отчасти происходит с помощью механизмов юмора. Например, неофициальная топонимика очень часто строится на удачных фонетических совпадениях, создающих комический эффект, и являющихся соединяющим звеном между мифом места, культурной репутацией и самой точкой в пространстве. Однако только (пост)фольклорная перспектива далеко не исчерпывает способов освоения пространства, превращения точек в места, значимые для субъекта. Включение в ментальную карту этих мест возможно благодаря постоянной актуализации культурной репутации места, частотности упоминания топонима, узнаваемости. Попадание топоса в юмористический текст (не обязательно фольклорный) позволяет ему быть узнаваемым, влиять на формирование топографической иерархии с его участием. Функционирование его в юмористическом тексте и влияние юмористического осмысления топоса может быть объектом самостоятельного исследования, как с использованием инструментов фольклористики и этнографии, так и применением исследовательских стратегий социологии, культурологии и литературоведения. Например, комический фокус, делающийся в музыкальной культуре, создает определенную репутацию места, высвечивая его характеристики, давно ставшие стереотипными интерпретации вдруг приобретают новое значение, что может как положительно, так и отрицательно сказаться на оценке места субъектом, хотя прямой корреляции юмористической интерпретации и негативизации топоса нет.

Юмористическая, и не только юмористическая, маркировка мест может производиться и в виде создания непосредственно меток на плоскостях, как правило, стен зданий и заборах, в виде граффити (Voolaid, 2013; Voolaid, 2012; Annuk & Voolaid, 2020). Граффити содержат в себе множество разноплановой информации, в первую очередь, о субъекте, его создавшем, а во вторую, – о зрителях, в том числе и о пространственных представлениях их обоих.

Факторы, влияющие на конфигурацию топографической иерархии

Исследователь, отмечая наличие маркеров мест, которые свидетельствуют о значимости точек пространства для субъекта, тем не менее, не воспринимает их как причины для выделения того или иного места в каче-



стве значимого. Маркеры, скорее свидетельствуют о том, что процесс становления топографической иерархии совершился. Однако для нас важны факторы, способствующие выделению субъектом того или иного места в качестве предпочтительного или, наоборот, отталкивающего. Одной из задач исследования является выявление подобных факторов.

На наш взгляд, одним из таких факторов являются заимствованные от авторитетных источников пространственные стереотипы. Готовая чужая ментальная карта родителей, учителей очень часто служит основой для ментальной разметки пространства ребенком. Разметка пространства, производящаяся с помощью фольклоризации, фиксируется в культуре и передается как совокупность сложившихся представлений, выражаемых в качестве культурной репутации каждого из мест. Превращающиеся в стереотипы, эти представления воспринимаются как географические факты и выступают как существенные факторы, определяющие конфигурацию ментальной карты и топографической иерархии, особенно в процессе заимствования готовых ментальных карт от авторитетных для субъекта носителей (родителей, наставников и т.п.). Если в процессе творческого осмысления пространства, в процессе его разметки субъект может влиять на конфигурацию, может принять точку в качестве места, но может и не принимать, может влиять на содержание локального мифа, изменять его, то в случае заимствования стереотипов изменения их не производятся, они принимаются как готовые легитимированные нормы, определяющие способ интерпретации пространственных элементов. Тогда юмористический акцент выступает как существенный фактор отказа или принятия оценки места в ходе заимствования пространственных стереотипов и содержащихся в них культурных репутаций (L'Hoeste, 1998).

Еще один фактор – виктимальная культурэкономия, являющаяся основой для травматической разметки ментального пространства современного носителя европейской культуры (Troitskiy, 2021). Травматическая разметка, в силу своей неочевидности, как нам кажется нуждается в специальном разборе, поэтому следующий параграф мы посвятим ей. Нам кажется очевидным, что травматические установки формируют самостоятельный уровень ментальной карты, влияют на жизненные траектории и стратегии поведения субъекта, могут совершенно не совпадать с заимствованными пространственными стереотипами, о которых речь шла выше.

В ходе исследования важно выявить и другие факторы, определяющие конфигурацию ментальной карты и топографической иерархии.

Факторы, влияющие на конфигурацию топографической иерархии: городская травма

Уже упоминавшиеся места памяти (Nora, 1984; Нора, 1999) служат организующими центрами для соответствующей социальной группы, предполагают наличие соответствующей инфраструктуры, благодаря которой они являются привлекательными как точки стремления, как топографически приоритетные места, включенные в ментальную карту субъекта. Однако город является поликультурным пространством, легко подстраивающимся под складывающиеся условия, позволяющим сосуществовать разным местам памяти и трансформирующим собственное тело (городское пространство) в соответствии с этими мемориальными технологиями собирания коллективностей.

Мемориальная значимость дестинации может быть основанием для реализации туристического потенциала и построения соответствующей инфраструктуры, в том числе и «темного» туризма (Kidron, 2013; Kidron, 2012). Отдельного внимания в контексте исследования топографической иерархии требует городская травма как фактор, влияющий на топографические предпочтения. Городская травма здесь может пониматься двояко. Во-первых, в контексте культурной (исторической) травмы (Ansem, et al. 2020; Aquilué, et al. 2014), к которой как раз и относятся места памяти в топографии, и которая собирает и упорядочивает индивидуальные памяти в один мемориальный комплекс, определяющий город как целое, создающий его уникальное «лицо со шрамом». Во-вторых, городская травма может быть осмыслена не диахронически (ретроспективно), а синхронически, как проблема современного города, как источник травматического беспокойства (Бауман, 2008).

Жители города чувствуют себя живущими в «одержимом страхом и паникой обществе» (Бауман & Донскис, 2019, с. 16), но размазанный во времени и пространстве страх – это беспокойство. Травматический потенциал городских пространств обеспечивается существованием инфраструктуры беспокойства как необходимого условия городской травмы во втором ее понимании. Она нуждается в отдельном исследовании, поэтому здесь мы очень вкратце очертим содержание этого концепта. Под инфраструктурой беспокойства мы понимаем совокупность явлений, которые обеспечивают актуальностью городскую травму, поддерживают беспокойство, выступают все вместе как единая система, взаимодействуя между собой, зачастую случайно, но присутствие их вместе запускает реакцию беспокойства (сирена и мигалка, отсутствие освещения, лифт с незнакомцем внутри, социальная реклама, телевизионные ролики об опасностях, новости, которые названы «индустрией страха» (Бауман & Донскис, 2019, с. 16), городские слухи и пр.). Инфраструктура беспокойства является самовоспроизводимой системой, например, городские легенды вызывают беспокойство, но одновременно с этим и передаются, чтобы выступать усилителями беспокойства у других (Архипова & Кирзюк,



2020). Оставленная на помойке сумка не вызывает беспокойства, но та же сумка, оставленная в лифте или в метро, порождает приступ паники (Запорожец & Лавринцев, 2008, с. 83-103). И дело не в сумке, а в соединении ее с другим событием, которое выступает как катализатор. Возможно, инфраструктура беспокойства – это элемент не всех пространств, а не-мест (Запорожец & Лавринцев, 2008, с. 85-89).

Оба толкования городской травмы сходятся в толковании ее как заботы о себе, воплощаемой в заботе о молчащем (неслышимом) Другом¹. В первом случае это замолчавшие жертвы, за которых о травматическом опыте должны говорить потомки, а во втором – это молчащие живые жертвы, вместо которых должны говорить потенциальные жертвы. Травматический нарратив, таким образом, может быть сведен к выражению «Никогда больше», к обеспечению неповторимости травматического опыта, а в перспективе заботы о себе – обеспечению собственной безопасности. Инфраструктура городской травмы (как мемориальная, так и инфраструктура беспокойства) позволяет сохранять активность травматического воздействия на субъектов. Такой результат достигается с помощью ритуалов² и нарративных практик (Spelman 2008), связанных с конкретным объектом инфраструктуры и обеспечивающих его идентичным содержанием, которое со времени может изменяться³, но при этом сохранять травматическую основу, «призраков» (Hetherington & Degen, 2001; Till, 2005, с. 5-24) травмы.

Подход к изучению городской травмы, по мнению Марии Лугонес, должен учитывать топографический аспект и работать с телесной реальностью (ощущениями), поэтому она называет его «пешеходным» («pedestrian»), хотя для нее важно, чтобы этот подход был вообще главенствующим в социальных науках, поскольку он предполагает множественность Других, которые нуждаются в понимании, не теряя своей дружости. В связи с этим, «пешеходный» взгляд – это «перспектива изнутри людей, изнутри слоев отношений, инсти-

- 1 Практики заботы о себе как заботы о Другом носят политически значимый характер еще с античности (Фуко, 1998).
- 2 Эмма Жаннет Роуланд, обращаясь к концепции управления эмоциями Хочшилда (Hochschild, 1979), указывает на три аспекта, которые можно назвать стратегиями работы с эмоциями (здесь используется терминология «драматического подхода» Ирвина Гоффмана): «когнитивный, актёры думают о том, как они должны себя чувствовать, и соответствующим образом меняют свои чувства, воплощенный, актёр пытается контролировать физические реакции на эмоции и, выразительный, принимает выражение лица, чтобы изменить внутренние чувства» (Rowland, 2014, с. 49). Последний из этих трех, а именно выразительная стратегия строится на механическом приучении тела к эмоции, чтобы из внешнего выражения извлечь глубинную эмоцию. Как нам кажется, такая стратегия приложима и к травматическим ритуалам, которые приучают тела к соответствующей эмоциональной реакции на раздражитель (см., напр. Johnson, et al. 1995). Вероятно, в этом кроется и секрет лечения посттравматического стрессового расстройства с помощью архаических ритуалов (Schultz & Weisæth, 2015; Cole, 2004). С той же целью приучения к соответствующей эмоции используется ритуал и в качестве травматической инфраструктуры (Sodaro, 2018; Kirschenbaum, 2006).
- 3 Изменения в интерпретации городской травмы связаны, в первую очередь, с трансформацией индивидуальной(ых) памяти(ей), вернее, с тем, как реактуализируется в рассказе каждый новый раз травматический опыт. Рассказ, который соединяет прошлое и будущее жертвы травмы (Antze, 1996)

тутов и практик» (Lugones, 2003, с. 5). Похожий подход за 100 лет до аргентинской философии предложил российский ученый Иван Михайлович Гревс (экскурсионный подход, основанный на идеографическом методе), предполагая, что понимание культуры невозможно без ощущений, привлечения всех органов чувств (Гревс, 1910; Гревс, 1921; Гревс, 1903): «Пособниками для истолкования того, что говорят вещественные памятники прошлого, являются природа и люди; ландшафт и топография, рельеф и одежда земли, ее дары, солнце, воздух, горы и море,— с одной стороны, открывают фон искомой картины, современное население многими пережитками прошлого в нынешнем его быту оживляет, с другой, окаменелости вековой старины» (Гревс, 1910, с. 27). Однако Гревс, в отличие от Лугонес, предлагал постигать не живых Других в городе, а город как целое через его артефакты, пытаясь понять и услышать предыдущие поколения, уже умершие. Благодаря этому город предстает как пористая, сложная и неоднородная система, не встраивающаяся в линейность темпорального взгляда на построение места, а наоборот, доступного только этнографическому слуху, улавливающему обрывки различных свидетельств, мнений, индивидуальных памятей (Till, 2005). Неудивительно, что для изучения городской травмы в значении культурной травмы используется экскурсионный подход И.М. Гревса, а для описания городской травмы как источника травматического беспокойства – «пешеходный» взгляд М. Лугонес.

Оба толкования городской травмы имеют непосредственное влияние на формирование топографической иерархии. И если мемориальная инфраструктура, часто реализуемая как туристическая, способствует снижению травматического воздействия и содержания на субъектном уровне, и при этом, повышается привлекательность объекта, вокруг которого эта инфраструктура организована (место памяти) – играет роль узнаваемость объекта, финансовые потоки, и пр., – то инфраструктура беспокойства, наоборот, способствует включению точки в пространство в ментальную карту, но уже в качестве неприемлемой для стремлений, т.е. как центра отрицательной топографической иерархии.

Структура и методология предполагаемого исследования

Дальнейшая работа предполагает многоуровневое и междисциплинарное исследование, состоящее из нескольких условных частей. Фундаментальная часть, направленная на построение цельной теории топографической иерархии (системы топографических предпочтений) опирается на методы разработанные в рамках исследований пространства, пограничных и фронтирных исследований, философии города и урбанистики. Привлекается дискурс-анализ, контент-анализ. В качестве исходных для субъектного уровня теории используются теория ментальных карт и картирования пространства, заимствованные из литературоведения, а также концепция «культурных репу-



таций» как формы восприятия субъектом объекта на основании культурных конвенций и/или в результате коммуникативных практик. Также важное значение играют методы разработанные в рамках теории Зон культурного отчуждения и пограничья (ЗКОП) для выявления вытесненного, неявного культурного опыта. Уровень социологического и культурологического анализа – субъектный.

Для практической части исследования планируется применять социологические методы сбора информации – опрос (анкетирование), а также интервью. Научная идеология опроса ориентируется на результаты исследований зон культурного отчуждения крупных городов.

В отношении нашего проекта необходимо соотнести зарубежные теоретические наработки с актуальными для России пространственными практиками. Дело не только и не столько в отмеченном Мадinou Тлостановой (Тлостанова, 2020) отставании российского академического дискурса сколько в том, что само дисциплинарное деление науки с соответствующими достаточно строгими границами между дисциплинами, а также стратегия научной работы, выстроенная в соответствии с этими границами, заметно отличается на всем постсоветском пространстве от американского и / или западноевропейского образца. В связи с этим важной составляющей проекта является работа по выработке компромиссного варианта инструментальной части, позволяющего получить максимально полные данные, поэтому так важно участие иностранных коллег.

Обе части проекта, условно разделенные для удобства описания в заявке на теоретическую и практическую содержат в себе огромный потенциал как для дальнейших научных исследований, так и для практического применения. Первая, теоретическая часть включает в себя целый комплекс задач, а потому и ожидаемых результатов. Среди них первое по значимости – теоретическая проработка и подробное описание топографической иерархии (комплекса топографических предпочтений), механизмов формирования ее и факторов, ее определяющих. В результате теоретической работы участников проекта должна быть выработана конкретная теория топографической иерархии, включающая в себя

- исторический анализ топографической иерархии в культуре Нового времени и факторов, формирующих культурные репутации топоса (места) как формы символического наделения ценностью;
- социологический анализ процессов формирования системы топографических предпочтений
- описание маркеров топографической иерархии в культуре, с помощью которых можно выявить значимость того или иного топоса (места) для субъекта (индивидуального и коллективного)

- определение механизмов формирования современных топографических предпочтений

Другим важным результатом теоретической части проекта будет социологический анализ топографических предпочтений современной петербургской молодежи как конкретизация общей теории топографической иерархии в рамках определенной локации (Санкт-Петербург). Это позволит опробовать теоретические наработки на практике. В качестве основной аудитории для исследования выбраны старшие школьники как, с одной стороны, активная, самостоятельная группа, которая уже через год-два будет лично влиять на многие политические, экономические, демографические, культурные процессы, а с другой, сохраняющая еще ценности, предпочтения и стереотипы своих родителей и других близких родственников более старшего поколения. В качестве способа исследования выбран сплошной опрос, что позволит учесть различные вариации во мнениях и взглядах и захватить различные культурные группы. Такое конкретное исследование позволит скорректировать первоначальные установки, гипотезу, как на уровне конкретного исследования, так и на уровне универсальной теории.

Если говорить о практической части исследования, являющейся неотъемлемой от теоретической части, а именно, о самом опросе, то в результате всей практической работы должна выкристаллизоваться форма опросника для выявления топографических предпочтений внутри города. Эта форма может быть использована в других исследованиях в других городах и, в принципе, должна быть применима на разных уровнях обобщения (внутри района, внутри, города, внутри региона, внутри страны, внутри Европейского или Евразийского союза и т.п.). Данная форма опросника может быть адаптирована к другим (не российским) языковым и культурным особенностям с тем, чтобы выявить сходные процессы в других странах.

В качестве целей исследования мы наметили следующие:

1. Выявить и описать топографическую иерархию как культур-антропологический фактор, определяющий расселение и миграцию в индустриальном и постиндустриальном обществе
2. Выявить факторы, влияющие на степень привлекательности места (топоса)
3. Выявить различные маркеры топографических предпочтений (языковой, фольклорный, юмористический и пр.). Маркеры, которые свидетельствуют об «освоении» места, боязни каких-то топосов, культурного вытеснения из ментальной карты, высмеивания и др.
4. Определить механизмы изменения культурной репутации топоса (места).



Заключительные заметки

Представленный в данной статье предпроект является результатом подготовительной работы. Амбициозные цели проекта предполагают большую предварительную работу, особенно по проработке гипотезы и методологической базы. Учитывая, что проект предполагает апробацию результатов на материале различных культур, важно создать унифицированный инструментальную основу для адаптации инструментов исследования (опросник, сценарий интервью) под конкретную культурную ситуацию, национальные особенности и пр., для работы в разных регионах мира. Авторы очень надеются на живой отклик у коллег и особенно на конструктивную критику!

Список литературы

- Annuk, E., & Voolaid, P. (2020). Soolisuse esitamine Eesti grafitis ja tänavakunstis [The Representation of Solace in Estonian Graphic Art and Street Art]. *Methis Studia humaniora Estonica*, 26, 109–136. <https://doi.org/10.7592/methis.v2i26.16913> (In Estonian)
- Ansem, N. van, David, L., Eekhout, C. van, Leijnse, M., Mellendijk, S., & Oost, K. (2020). Remembering Urban Trauma: St Petersburg and Nijmegen in the Second World War. *Corpus Mundi*, 1(2), 122–159. <https://doi.org/10.46539/cmj.v1i2.16>
- Antze, P. (1996). Telling Stories, Making Selves: Memory and Identity in Multiple Personality Disorder. In P. Antze & M. Lambek (Eds.), *Tense past: Cultural essays in trauma and memory* (pp. 3–24). Routledge.
- Aquilué, I., Lekovic, M., & Ruiz Sánchez, J. (2014). Urban Trauma and Self-organization of the City. Autopoiesis in the Battle of Mogadishu and the Siege of Sarajevo. *Urban, (Ejemplar Dedicado a: New Urban Languages. Rethinking Urban Ideology in Post-Ideological Times)*, 8–9, 63–76.
- Bondi, L. (2005). Making connections and thinking through emotions: Between geography and psychotherapy. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 30(4), 433–448. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2005.00183.x>
- Cole, J. (2004). Painful Memories: Ritual and the Transformation of Community Trauma. *Cult Med Psychiatry*, 28, 87–105. <https://doi.org/10.1023/B:MEDI.0000018099.85466.c0>
- Davidson, J., Bondi, L., & Smith, M. (Eds.). (2007). *Emotional Geographies*. Ashgate.
- Frank, A. G., & Gills, B. (Eds.). (1994). *The World System: Five Hundred Years or Five Thousand?* Routledge.
- Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. MIT Press.
- Hägerstrand, T. (1986). Om geografins kärnområde [About the core area of geography]. *Svensk Geografisk Årsbok*, 62, 38–43. (In Swedish).
- Haken, H., & Portugali, J. (2003). The face of the city is its information. *Journal of Environmental Psychology*, 23(4), 385–408. [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(03\)00003-3](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(03)00003-3)
- Hetherington, K., & Degen, M. (2001). Hauntings. *Space and Culture*, 10(4), 1–6.

- Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social-structure. *American Journal of Sociology*, 85(3), 551–575. <https://doi.org/10.1086/227049>
- Hubbard, P., Bartley, B., Fuller, D., & Kitchin, R. (2002). *Thinking Geographically: Space, Theory and Contemporary Human Geography*. Continuum.
- Jiang, B. (2012). The image of the city out of the underlying scaling of city artifacts or locations. *Annals of the Association of American Geographers*, 103(6), 1552–1566. <https://doi.org/10.1080/00045608.2013.779503>
- Johnson, D. R., Feldman, S. C., Lubin, H., & S.M, S. (1995). The therapeutic use of ritual and ceremony in the treatment of post-traumatic stress disorder. *Journal of Traumatic Stress*, 8(2), 283–298. <https://doi.org/10.1002/jts.2490080209>
- Kidron, C. A. (2012). Breaching the wall of traumatic silence: Holocaust survivor and descendant person-object relations and the material transmission of the genocidal past. *Journal of Material Culture*, 17(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/1359183511432989>
- Kidron, C. A. (2013). Being There Together: Dark Family Tourism and the Emotive Experience of Copresence in the Holocaust Past. *Annals of Tourism Research*, 41, 175–194. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.12.009>
- Kirschenbaum, L. A. (2006). *The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995: Myth, Memories, and Monuments*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511511882>
- Kwan, M.-P. (2007). Affecting geospatial technologies: Toward a feminist politics of emotion. *The Professional Geographer*, 59(1), 22–34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9272.2007.00588.x>
- L'Hoeste, H. (1998). From Mafalda to Boogie: The City and Argentine Humor. In E. Bueno & T. Caesar (Eds.), *Imagination Beyond Nation: Latin American Popular Culture* (pp. 81–106). University of Pittsburgh Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt5hjp98.7>
- Lugones, M. (2003). *Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalition against Multiple Oppressions*. Rowman & Littlefield.
- Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. MIT Press.
- Massey, D. (1996). Politics and Space/Time. *New Left Review*, 196, 65–84.
- McQuoid, J., & Dijst, M. (2012). Bringing emotions to time geography: The case of mobilities of poverty. *Journal of Transport Geography*, 23, 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.03.019>
- Nikolayeva, Zh., & Troitskiy, S. (2018). An Introduction to Russian and International Studies of Cultural Exclusion Zones. An Analytical Overview of Recent Concepts. *Rivista Di Estetica*, 67(LVIII), 3–19. <https://doi.org/10.4000/estetica.2482>
- Nora, P. (1984). *Les lieux de mémoire. 1: La République*. Gallimard.
- Portugali, J. (2011). *Complexity, Cognition and the City, Understanding Complex Systems*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-19451-1>
- Rowland, E. (2014). *Emotional geographies of care work in the NHS*. Royal Holloway University of London. (Doctoral Thesis).
- Schultz, J.-H., & Weisæth, L. (2015). The power of rituals in dealing with traumatic stress symptoms: Cleansing rituals for former child soldiers in Northern Uganda. *Mental Health, Religion & Culture*, 18(10), 822–837. <https://doi.org/10.1080/13674676.2015.1094780>



- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Techn J*, 27, 379–423, 623–656. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb00917.x>
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press.
- Sodaro, A. (2018). *Exhibiting Atrocity. Memorial Museums and the Politics of Past Violence*. Rutgers University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1v2xskk>
- Spelman, E. V. (2008). Repair and the scaffold of memory. In P. E. Steinberg & R. Shields (Eds.), *What is a city? The urban after Katrina* (pp. 140–154). University of Georgia Press.
- Thien, D. (2005). After or beyond Feeling? A Consideration of Affect and Emotion in Geography. *Area*, 37(4), 450–454. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2005.00643a.x>
- Thrift, N. (2004). Intensities of feeling: Towards a spatial politics of affect. *Geografiska Annaler Series B*, 86, 57–78. <https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00154.x>
- Till, K. E. (2005). *The new Berlin: Memory, politics, place*. University of Minnesota Press.
- Troitskiy, S. (2018). The Problem of Terminological Precision in Studies on Cultural Exclusion Zones. *Rivista di Estetica*, 67(LVIII), 165–180. <https://doi.org/10.4000/estetica.2772>
- Troitskiy, S. (2021). Trauma and the Victim Economy. *Folklore*, 82, 14–28.
- Voolaid, P. (2012). In graffiti veritas: A Paremic Glance at Graffiti in Tartu. *Estonia and Poland: Creativity and Change in Cultural Communication*, 1 Jokes and humour, 237–268. <https://doi.org/10.7592/EP.1.voolaid>
- Voolaid, P. (2013). Täägin, järelikult olen olemas. Paröömiline pilguheit Tartu grafitile [I'm talking, therefore I exist. A paroeic glimpse of Tartu graphite]. *Mäetagused*, 53, 7–38. <https://doi.org/10.7592/MT2013.53.voolaid> (In Estonian)
- Wylie, J. W., & Cebster, C. (2018). Eyeopener: Drawing landscape near and far. In *Transactions of the Institute of British Geographers* (pp. 1–42). <https://doi.org/10.1111/tran.12267>
- Абдрахманова, Т. М. (2017). Локальная топонимика: Структурно-семантический и мотивационный анализ. *Молодой ученый*, 14(148), 681–683.
- Алексеевский, М. Д., Ахметова, М. В., & Лурье, М. Л. (2010). Исследования города. *Антропологический форум*, 12, 16–25.
- Архипова, А., & Кирзюк, А. (2020). Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР. *Новое литературное обозрение*.
- Ахметова, М. В. (2011). Русская неофициальная топонимия: Генезис и узус. *Вестник РГТУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология*, 9(71), 228–237.
- Бауман, З. (2008). Город страхов, город надежд. *Логос*, 3(66), 24–53.
- Бауман, З., & Донскис, Л. (2019). *Текущее зло: Жизнь в мире, где нет альтернатив*. Издательство Ивана Лимбаха.
- Бродель, Ф. (2006). *Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Весь мир*.
- Бунчук, Т. Н. (1998). Роль топонимических преданий в этимологии топонима. В В. Г. Костомаров (Ред.), *Общие проблемы преподавания языков: Преподавание русского языка финно-угорской аудитории: Тезисы Международной научно-методической конференции* (с. 23–24). Сыктывкарский государственный университет.

- Валлерстайн, И. (2001). *Анализ мировых систем и ситуация в современном мире*. Университетская книга.
- Горбаневский, М. В. (1996). *Русская городская топонимия: Методы историко-культурного изучения и создания компьютерных словарей*. ОЛРС.
- Гревс, И. М. (1903). *Научные прогулки по историческим центрам Италии: I. Очерки флорентийской культуры*. Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко.
- Гревс, И. М. (1910). К теории и практике «экскурсий» как научного изучения истории в университетах. (Поездка в Италию со студентами в 1907 г.). ЖМНП. Новая серия, XXVIII, 21–64.
- Гревс, И. М. (1921). Монументальный город и исторические экскурсии. (Основная идея образовательных путешествий по крупным центрам культуры). Экскурсионное дело, 1, 21–34.
- Григоричев, К. В. (2020). «Неправильные» китайцы и «захваченный» город: Оспаривание городского пространства как выработка практик взаимодействия с Другим. Журнал исследований социальной политики, 18(4), 593–608.
- Запорожец, О., & Лавринцев, Е. (2008). Драматургия городского страха: Риторические тактики и «бесхозные» вещи. В Н. Милерус & Б. Коуп (Ред.), Р.С. Ландшафты: Оптики городских исследований. Сборник научных трудов (с. 83–103). ЕГУ.
- Кравцов, Н. И., & Лазутин, С. Г. (1983). *Русское устное народное творчество*. Высшая школа.
- Лефевр, А. (2015). *Производство пространства*. Strelka Press.
- Малахов, В. С. (2020). От сообществ к пространству: Исследуя изменения городской среды под влиянием миграций. Журнал исследований социальной политики, 18(4), 561–576. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2020-18-4-561-576>
- Моизи, Д. (2010). *Геополитика эмоций. Как культуры страха, унижения и надежды трансформируют мир*. Московская школа политических исследований.
- Николаи, Ф. В., & Хазина, А. В. (2015). История эмоций и «аффективный поворот»: Проблемы диалога. Диалог со временем, 50, 97–115.
- Нора, П. (1999). *Франция-память*. Издательство Санкт-Петербургского университета.
- Оже, М. (2017). Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. Новое литературное обозрение. <https://www.libfox.ru/680712-mark-ozhe-ne-mesta-vvedenie-v-antropologiyu-gipermoderna.html>
- Подюков, И. А. (2015). Символика топонимических отсылок в народной фразеологии. Социо- и психолингвистические исследования, 3, 41–43.
- Рагулина, М. В. (2017). Геополитика и география эмоций: Проблема субъективности. Общество: политика, экономика, право, 11, 28–31. <https://doi.org/10.24158/pep.2017.11.6>
- Скопина, М. В. (2013). Феномен «Места» и «Не-места» в постиндустриальном городе. Вестник МГСУ, 1, 66–71. <https://doi.org/10.22227/1997-0935.2013.1.66-71>
- Соколова, В. К. (1972). Типы восточнославянских топонимических преданий. В Б. Н. Путилов & В. К. Соколова (Ред.), *Славянский фольклор* (с. 202–233). Наука.
- Стась, И. (2020). Исследования городских идентичностей в исторической урбанистике Сибири. Quaestio Rossica, 8(5), 1807–1821.



- Сухих, М. П. (2008). Псевдотопонимы в поэтической картине мира Д. Ревякина. В Д. Н. Багрецов & М. А. Литовская (Ред.), *Слово—Текст—Смысл: Сборник студенческих научных работ* (Т. 3, сс. 137–139). Уральский государственный университет.
- Тлостанова, М. (2020). Постколониальный удел и деколониальный выбор: Постсоциалистическая медиация. *Новое литературное обозрение*, 1(161), 66–84.
- Троицкая, А. А. (2020). Маркируя место: Роль пустых пространств в ментальных границах города (на примере устья реки Смоленки). *Журнал Фронтирных Исследований*, 4, 344–381. <https://doi.org/10.46539/jfs.v5i4.243>
- Троицкий, С. А. (2011). Образ «чужого—Сильного» в народной культуре. *Вече: Журнал русской философии и культуры*, 22, 224–231.
- Троицкий, С. А. (2015). Проблема терминологической точности при изучении зон культурного отчуждения. *Новое Литературное Обозрение*, 133, 66–75.
- Троицкий, С. А. (2017). Синтаксис утраты. *Studia Culturae*, 2(32), 160–172.
- Троицкий, С. А. (2019). Конструкт травмы как основа для формирования топографической иерархии. *Неприкосновенный Запас*, 1(123), 123–131.
- Троицкий, С. А., Николаева, Ж. В., & Царев, А. О. (2018). Проблемы идентичности в зонах культурного отчуждения городской среды. *Studia Culturae*, 3(37), 92–111.
- Трубе, Л. Л., & Пономаренко, Г. М. (1969). Наивная этимология и фольклор в топонимии. В В. Ф. Барашков & В. А. Никонов (Ред.), *Ономастика Поволжья. Материалы I Поволжской конференции по ономастике* (сс. 182–185). Институт языкознания АН СССР, Ульяновский государственный педагогический институт им. И.Н. Ульянова.
- Ульрих, П., & Троицкий, С. (2019). Сложность «границ»: Постановка проблемы, терминология и классификация. *Журнал Фронтирных Исследований*, 4(2), 234–256. <https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10035>
- Успенский, Л. (1969). Загадки топонимики. «Молодая гвардия».
- Фуко, М. (1998). *Забота о себе. История сексуальности* (Т. 3). Дух и Литера.
- Фуко, М. (2006a). Другие пространства. В *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью*. Ч. 3 (сс. 191–204). Праксис.
- Фуко, М. (2006b). Пространство, знание и власть. В *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью*. Ч. 3 (сс. 215–236). Праксис.
- Химик, В. В. (2000). *Поэтика низкого, или городское просторечие как культурный феномен*. Филологический факультет СПбГУ.
- Царев, А. О. (2019). Городское пространство в российской хип-хопе: Зоны отчуждения и его преодоления. *Неприкосновенный запас*, 5, 132–143.
- Шарипова, О. А. (2012). Неофициальные топонимы как подсистема языка города. *Ярославский педагогический вестник. Гуманитарные науки*, 4(1), 203–206.
- Эткинд, А. (2013). *Внутренняя колонизация. Имперский опыт России*. Новое литературное обозрение.

References

- Abdrakhmanova, T. M. (2017). Local Toponymy: Structural-Semantic and Motivational Analysis. *Young Scientist*, 14(148), 681–683. (In Russian).
- Akhmetova, M. V. (2011). Russian Unofficial Toponymy: Genesis and Usus. *Bulletin of the Russian State University of Humanities. Series: Literary Studies. Linguistics. Culturology*, 9(71), 228–237. (In Russian).
- Alekseevsky, M. D., Akhmetova, M. V., & Lurie, M. L. (2010). Studies of the city. *Anthropology Forum*, 12, 16–25. (In Russian).
- Annuk, E., & Voolaid, P. (2020). Soolisuse esitamine Eesti grafitis ja tänavakunstis [The Representation of Solace in Estonian Graphic Art and Street Art]. *Methis Studia humaniora Estonica*, 26, 109–136. <https://doi.org/10.7592/methis.v2i26.16913> (In Estonian)
- Ansem, N. van, David, L., Eekhout, C. van, Leijnse, M., Mellendijk, S., & Oost, K. (2020). Remembering Urban Trauma: St Petersburg and Nijmegen in the Second World War. *Corpus Mundi*, 1(2), 122–159. <https://doi.org/10.46539/cmj.v1i2.16>
- Antze, P. (1996). Telling Stories, Making Selves: Memory and Identity in Multiple Personality Disorder. In P. Antze & M. Lambek (Eds.), *Tense past: Cultural essays in trauma and memory* (pp. 3–24). Routledge.
- Aquilué, I., Lekovic, M., & Ruiz Sánchez, J. (2014). Urban Trauma and Self-organization of the City. Autopoiesis in the Battle of Mogadishu and the Siege of Sarajevo. *Urban, (Ejemplar Dedicado a: New Urban Languages. Rethinking Urban Ideology in Post-Ideological Times)*, 8–9, 63–76.
- Arkhipova, A., & Kirzyuk, A. (2020). *Dangerous Soviet Things: Urban Legends and Fears in the USSR*. New Literary Review. (In Russian).
- Auger, M. (2017). Non-Place. Introduction to the Anthropology of Hypermodernity. New Literary Review. <https://www.libfox.ru/680712-mark-ozhe-ne-mesta-vvedenie-v-antropologiyu-gipermoderna.html> (In Russian).
- Bauman, Z. (2008). City of Fears, City of Hopes. *Logos*, 3(66), 24–53. (In Russian).
- Bauman, Z., & Donskis, L. (2019). *Ongoing Evil: Living in a World with No Alternatives*. Ivan Limbach Publishers. (In Russian).
- Bondi, L. (2005). Making connections and thinking through emotions: Between geography and psychotherapy. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 30(4), 433–448. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2005.00183.x>
- Brodel, F. (2006). *Material Civilization, Economy, and Capitalism, 15th and 18th Centuries*. Ves Mir. (In Russian).
- Bunchuk, T. N. (1998). The role of toponymic legends in the etymology of the toponym. In V. G. Kostomarov (Ed.), *General Problems of Teaching Languages: Teaching Russian to Finno-Ugric Audiences: Abstracts of the International Scientific and Methodological Conference* (pp. 23–24). Syktyvkar State University. (In Russian).
- Cole, J. (2004). Painful Memories: Ritual and the Transformation of Community Trauma. *Cult Med Psychiatry*, 28, 87–105. <https://doi.org/10.1023/B:MEDI.0000018099.85466.c0>
- Davidson, J., Bondi, L., & Smith, M. (Eds.). (2007). *Emotional Geographies*. Ashgate.



- Etkind, A. (2013). *Domestic Colonization. The Imperial Experience of Russia*. New Literary Review. (In Russian).
- Foucault, M. (2006a). Other spaces. In *Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches, and Interviews. Part 3* (pp. 191–204). Praxis. (In Russian).
- Foucault, M. (1998). *Self-care. A History of Sexuality* (Vol. 3). Spirit and Literature. (In Russian).
- Foucault, M. (2006b). Space, Knowledge, and Power. In *Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches, and Interviews. Part 3* (pp. 215–236). Praxis. (In Russian).
- Frank, A. G., & Gills, B. (Eds.). (1994). *The World System: Five Hundred Years or Five Thousand?* Routledge.
- Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. MIT Press.
- Gorbanevsky, M. V. (1996). *Russian Urban Toponymy: Methods of Historical and Cultural Studies and Computer Dictionaries*. OLRIS. (In Russian).
- Greys, I. M. (1910). To the theory and practice of “excursions” as the scientific study of history in universities. (Trip to Italy with students in 1907). *ZhMNP. New Series*, XXVIII, 21–64. (In Russian).
- Greys, I. M. (1921). The Monumental City and Historical Excursions. (The Basic Idea of Educational Journeys to Major Centers of Culture). *Excursion services*, 1, 21–34. (In Russian).
- Grews, I. M. (1903). *Scientific walks through the historical centers of Italy: I. Essays on Florentine culture*. Type-lithography of the Partnership I. H. Kushnerrev & Co. (In Russian).
- Grigoriev, K. V. (2020). The “Wrong” Chinese and the “Captured” City: Challenging Urban Space as the Development of Practices of Interaction with the Other. *Journal of Social Policy Research*, 18(4), 593–608. (In Russian).
- Hägerstrand, T. (1986). Om geografins kärnområde [About the core area of geography]. *Svensk Geografisk Årsbok*, 62, 38–43. (In Swedish).
- Haken, H., & Portugali, J. (2003). The face of the city is its information. *Journal of Environmental Psychology*, 23(4), 385–408. [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(03\)00003-3](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(03)00003-3)
- Hetherington, K., & Degen, M. (2001). Hauntings. *Space and Culture*, 10(4), 1–6.
- Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social-structure. *American Journal of Sociology*, 85(3), 551–575. <https://doi.org/10.1086/227049>
- Hubbard, P., Bartley, B., Fuller, D., & Kitchin, R. (2002). *Thinking Geographically: Space, Theory and Contemporary Human Geography*. Continuum.
- Jiang, B. (2012). The image of the city out of the underlying scaling of city artifacts or locations. *Annals of the Association of American Geographers*, 103(6), 1552–1566. <https://doi.org/10.1080/00045608.2013.779503>
- Johnson, D. R., Feldman, S. C., Lubin, H., & S.M, S. (1995). The therapeutic use of ritual and ceremony in the treatment of post-traumatic stress disorder. *Journal of Traumatic Stress*, 8(2), 283–298. <https://doi.org/10.1002/jts.2490080209>
- Khimik, V. V. (2000). *Poetics of the Low, or Urban Prose as a Cultural Phenomenon*. Faculty of Philology, St. Petersburg State University. (In Russian).

- Kidron, C. A. (2012). Breaching the wall of traumatic silence: Holocaust survivor and descendant person-object relations and the material transmission of the genocidal past. *Journal of Material Culture*, 17(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/1359183511432989>
- Kidron, C. A. (2013). Being There Together: Dark Family Tourism and the Emotive Experience of Copresence in the Holocaust Past. *Annals of Tourism Research*, 41, 175–194. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.12.009>
- Kirschenbaum, L. A. (2006). *The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995: Myth, Memories, and Monuments*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511511882>
- Kravtsov, N. I., & Lazutin, S. G. (1983). Russian oral folklore. High School. (In Russian).
- Kwan, M.-P. (2007). Affecting geospatial technologies: Toward a feminist politics of emotion. *The Professional Geographer*, 59(1), 22–34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9272.2007.00588.x>
- L'Hoeste, H. (1998). From Mafalda to Boogie: The City and Argentine Humor. In E. Bueno & T. Caesar (Eds.), *Imagination Beyond Nation: Latin American Popular Culture* (pp. 81–106). University of Pittsburgh Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt5hjp98.7>
- Lefebvre, A. (2015). *Space production*. Strelka Press. (In Russian).
- Lugones, M. (2003). *Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalition against Multiple Oppressions*. Rowman & Littlefield.
- Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. MIT Press.
- Malakhov, V. S. (2020). From Communities to Spaces: Exploring Urban Environmental Change Under the Influence of Migration. *Journal of Social Policy Research*, 18(4), 561–576. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2020-18-4-561-576> (In Russian).
- Massey, D. (1996). Politics and Space/Time. *New Left Review*, 196, 65–84.
- McQuoid, J., & Dijst, M. (2012). Bringing emotions to time geography: The case of mobilities of poverty. *Journal of Transport Geography*, 23, 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.03.019>
- Moisi, D. (2010). *The Geopolitics of Emotion. How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope Transform the World*. Moscow School of Political Studies. (In Russian).
- Nicolai, F. V., & Khazina, A. V. (2015). The History of Emotion and the “Affective Turn”: Problems of Dialogue. *Dialogue with Time*, 50, 97–115. (In Russian).
- Nikolayeva, Zh., & Troitskiy, S. (2018). An Introduction to Russian and International Studies of Cultural Exclusion Zones. An Analytical Overview of Recent Concepts. *Rivista Di Estetica*, 67(LVIII), 3–19. <https://doi.org/10.4000/estetica.2482>
- Nora, P. (1984). *Les lieux de mémoire. 1: La République*. Gallimard.
- Nora, P. (1999). *France-memory*. St. Petersburg University Press. (In Russian).
- Ouspensky, L. (1969). *Toponymic riddles*. Young Guard. (In Russian).
- Podyukov, I. A. (2015). Symbolism of toponymic references in folk phraseology. *Sociological and Psycholinguistic Studies*, 3, 41–43. (In Russian).
- Portugali, J. (2011). *Complexity, Cognition and the City, Understanding Complex Systems*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-19451-1>
- Ragulina, M. V. (2017). Geopolitics and Geography of Emotions: The Problem of Subjectivity. *Society: Politics, Economics, Law*, 11, 28–31. <https://doi.org/10.24158/pep.2017.11.6> (In Russian).



- Rowland, E. (2014). *Emotional geographies of care work in the NHS*. Royal Holloway University of London. (Doctoral Thesis).
- Schultz, J.-H., & Weisæth, L. (2015). The power of rituals in dealing with traumatic stress symptoms: Cleansing rituals for former child soldiers in Northern Uganda. *Mental Health, Religion & Culture*, 18(10), 822–837. <https://doi.org/10.1080/13674676.2015.1094780>
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Techn J*, 27, 379–423, 623–656. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb00917.x>
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press.
- Sharipova, O. A. (2012). Unofficial toponyms as a subsystem of the language of the city. Yaroslavl Pedagogical Bulletin.. *Humanities*, 4(1), 203–206. (In Russian).
- Skopina, M. V. (2013). The Phenomenon of “Place” and “Non-Place” in the Postindustrial City. *MSCU Bulletin*, 1, 66–71. <https://doi.org/10.22227/1997-0935.2013.1.66-71> (In Russian).
- Sodaro, A. (2018). *Exhibiting Atrocity. Memorial Museums and the Politics of Past Violence*. Rutgers University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1v2xskk>
- Sokolova, V. K. (1972). Types of the East Slavic toponymic legends. In B. N. Putilov & V. K. Sokolova (Eds.), *Slavic Folklore* (pp. 202–233). Nauka. (In Russian).
- Spelman, E. V. (2008). Repair and the scaffold of memory. In P. E. Steinberg & R. Shields (Eds.), *What is a city? The urban after Katrina* (pp. 140–154). University of Georgia Press.
- Stas, I. (2020). Studies of Urban Identities in Historical Urbanism in Siberia. *Quaestio Rossica*, 8(5), 1807–1821. (In Russian).
- Sukhikh, M. P. (2008). Pseudotoponyms in the poetic picture of the world by D. Revyakin. In D. N. Bagretsov & M. A. Litovskaya (Eds.), *Word-Text-Sense: A Collection of Students' Research Papers* (Vol. 3, pp. 137–139). Ural State University. (In Russian).
- Thien, D. (2005). After or beyond Feeling? A Consideration of Affect and Emotion in Geography. *Area*, 37(4), 450–454. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2005.00643a.x>
- Thrift, N. (2004). Intensities of feeling: Towards a spatial politics of affect. *Geografiska Annaler Series B*, 86, 57–78. <https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00154.x>
- Till, K. E. (2005). *The new Berlin: Memory, politics, place*. University of Minnesota Press.
- Tlostanova, M. (2020). Postcolonial Fate and Decolonial Choice: Post-Socialist Mediation. *New Literary Review*, 1(161), 66–84. (In Russian).
- Troitskaya, A. A. (2020). Marking a Place: the Role of Void Spaces in the Mental Boundaries of a City (on the Example of the Smolenka River Mouth). *Journal of Frontier Studies*, 4, 344–381. <https://doi.org/10.46539/jfs.v5i4.243> (In Russian).
- Troitskiy, S. (2018). The Problem of Terminological Precision in Studies on Cultural Exclusion Zones. *Rivista di Estetica*, 67(LVIII), 165–180. <https://doi.org/10.4000/estetica.2772>
- Troitskiy, S. (2021). Trauma and the Victim Economy. *Folklore*, 82, 14–28.
- Troitsky, S. A. (2015). The Problem of Terminological Accuracy in the Study of Cultural Exclusion Zones. *New Literary Review*, 133, 66–75. (In Russian).
- Troitsky, S. A. (2011). The Image of the “Alien Strong” in the Folk Culture. *Veche: Journal of Russian Philosophy and Culture*, 22, 224–231. (In Russian).

- Troitsky, S. A. (2017). Syntax of loss. *Studia Culturae*, 2(32), 160–172. (In Russian).
- Troitsky, S. A. (2019). Trauma construct as a basis for topographic hierarchy formation. *Untouchable Stock*, 1(123), 123–131. (In Russian).
- Troitsky, S. A., Nikolaeva, Zh. V., & Tsarev, A. O. (2018). Problems of Identity in the Zones of Cultural Alienation of the Urban Environment. *Studia Culturae*, 3(37), 92–111. (In Russian).
- Trube, L. L., & Ponomarenko, G. M. (1969). Naive etymology and folklore in toponymy. In B. F. Barashkov & V. A. Nikonov (Eds.), *Onomastics of the Volga Region. Proceedings of the I Volga Region Conference on Onomastics* (pp. 182–185). Institute of Linguistics of the Academy of Sciences of the USSR, Ulyanovsk State Pedagogical Institute named after I. N. Ulyanov. (In Russian).
- Tsarev, A. O. (2019). Urban Space in Russian Hip-Hop: Zones of Alienation and its Overcoming. *Untouchable stock*, 5, 132–143. (In Russian).
- Ulrich, P., & Troitsky, S. (2019). The Complexity of «Borders»: Research Agendas, Terminology and Classification. *Journal of Frontier Studies*, 4(2), 234–256. <https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10035> (In Russian).
- Voolaid, P. (2012). In graffiti veritas: A Paremic Glance at Graffiti in Tartu. *Estonia and Poland: Creativity and Change in Cultural Communication*, 1 Jokes and humour, 237–268. <https://doi.org/10.7592/EP.1.voolaid>
- Voolaid, P. (2013). Täägin, järelikult olen olemas. Paröömiline pilguheit Tartu grafitile [I'm talking, therefore I exist. A paroeic glimpse of Tartu graphite]. *Mäetagused*, 53, 7–38. <https://doi.org/10.7592/MT2013.53.voolaid> (In Estonian)
- Wallerstein, I. (2001). *Analysis of World Systems and the Situation in the Modern World*. University Book. (In Russian).
- Wylie, J. W., & Cebster, C. (2018). Eyeopener: Drawing landscape near and far. In *Transactions of the Institute of British Geographers* (pp. 1–42). <https://doi.org/10.1111/tran.12267>
- Zaporozhets, O., & Lavrinets, E. (2008). Dramaturgy of urban fear: Rhetorical tactics and “derelict” things. In N. Milerius & B. Cope (Eds.), *P.S. Landscapes: Optics of Urban Research. A collection of scientific papers* (pp. 83–103). EGU. (In Russian).



Images of the Soviet Era in the Perception of the Student Youth of the Post-Soviet Caspian Region

Lyubov A. Kholova

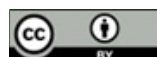
Astrakhan State University. Astrakhan, Russia. Email: [lyubov.kholova\[at\]yandex.ru](mailto:lyubov.kholova[at]yandex.ru)

Abstract

The article presents the results of a study of the perception of the Soviet era images by the student youth of the Caspian region (Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan). The main goal of the study is to identify the specifics of the attitude to the images of the Soviet era among Russian students and their peers from the post-Soviet Caspian states. The author proves that the images of the Soviet era among the students of the Caspian region were formed under the influence of natural circumstances and factors – family, education and, less often, politics. It is confirmed that the intercultural dialogue in the territory of the Caspian macro-region is rarely reduced to a simplified “We-They” (Ours – Alien) dichotomy and more often forms complex constructs. The results of the study show that the images of the Soviet era in the minds of the students of the Caspian region are of residual character, where the degree of intensity of memorizing the true meaning of the image is different: Russian students in comparison to foreign but Russian-speaking ones, showed a better knowledge of the connotation of images. The focus of nostalgic moods which were noted in our previous works remains characteristic of the older generation, whose youth falls on the Soviet era. The practical impact of the article is in proving that, when building the concept of a safe intercultural dialogue in the Caspian region, it is necessary to take into account not the common Soviet basis of the states, but the new discursive practices of the Caspian macro-region. The conclusions of this work can be used in general courses on social philosophy and philosophy of culture, anthropology and sociology of culture, as well as for the development of courses on semiotics of culture, visual culture, theory of intercultural communications. The systematized material, as well as the conclusions obtained during the analysis, can become the basis for further research work.

Keywords

Cultural Security; Intercultural Dialogue; Images of the Soviet Past; the Soviet Era; Students; Their Own; the Other; the Caspian Macro-Region



This work is licensed under a [Creative Commons “Attribution” 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Образы советской эпохи в восприятии студенческой молодежи Прикаспия

Холова Любовь Александровна

Астраханский государственный университет. Астрахань, Россия.
Email: [lyubov.kholova\[at\]yandex.ru](mailto:lyubov.kholova[at]yandex.ru)

Аннотация

В статье представлены результаты исследования восприятия образов советской эпохи студенческой молодежью Прикаспия (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан). Основная цель исследования выявить специфику отношения к образам советской эпохи у российских студентов и их сверстников из Прикаспийских государств. Автор доказывает, что образы советской эпохи у студенческой молодежи Прикаспия сложились под влиянием естественных обстоятельств и факторов – семья, образование и реже политическая конъюнктура. Подтверждается, что межкультурный диалог на территории Каспийского макрорегиона редко сводится к упрощённой дихотомии «Свой-Чужой» и чаще формирует более сложные по составу конструкты. Результаты исследования показывают, что образы советской эпохи в сознании студенческой молодежи Прикаспия носят остаточный характер, где степень интенсивности запоминания истинного значения образа отличается: российские студенты по отношению к иностранным, но русскоговорящим студентам, показали лучшее знание коннотации образов. Фокус ностальгических настроений, которые были отмечены исследователем в предыдущих работах, остается характерным для старшего поколения, чья молодость приходится на советскую эпоху. Практическое значение статьи заключается в доказательстве того, что при построении концепции безопасного межкультурного диалога в Прикаспия следует учитывать не общий советский базис государств, а новые дискурсивные практики Каспийского макрорегиона. Выводы данной работы могут быть использованы в общих курсах по социальной философии и философии культуры, антропологии и социологии культуры, а также для разработки курсов по семиотике культуры, визуальной культуре, теории межкультурных коммуникаций. Систематизированный материал, а также полученные в ходе анализа выводы могут стать базой для дальнейшей научно-исследовательской работы.

Ключевые слова

культурная безопасность; межкультурный диалог; образы советского прошлого; Советская эпоха; студенты; Свои; Другие; Каспийский макрорегион



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons “Attribution” \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Introduction

The change in the geopolitical situation in the Caspian territory was caused by the collapse of the USSR, which resulted among other things in the emergence of three independent Caspian states – Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan. The recent period of history was marked by an increasing role of the interconnection of states at the political, economic and socio-cultural levels. The unique geopolitical position of the Caspian Sea has become a special factor of influence on the intercultural dialogue. The subsequent processes of changing the vector of perception of the Alien, the transformation of its images, where the attitude towards it is a “litmus test”, allow us to determine the state of society and the level of its security (Romanova et al., 2013; Aliev, 2018). The cultural area of the Caspian region is not homogeneous since the factors of its formation are initially ambivalent, and at the moment it is a synthesis of the “Soviet” and modern trends.

The subject of the analysis is the images of the Soviet era in the perception of the students of the post-Soviet Caspian region. It is assumed that the factors influencing the perception of Soviet cultural symbols are the conditions of everyday life, socio-cultural contacts and ideological impact of the education system, political apparatus and mass culture. It is based on the thesis about the heterogeneity of modern culture in the territory of the Caspian Sea, which synthesizes Soviet, post-Soviet and unique internal state discourses (Russian, Kazakh, Turkmenian, Azerbaijani). In this case the question is what is more “own” and close, and what is alien and hostile in view of the youth of the post-Soviet Caspian region.

Within the framework of this article, the opposition “We-They” is understood as social groups that differ from each other by the experience of everyday life. The “we-they” relationship develops at different levels. The younger generation born in the post-Soviet period, has no emotional connection and personal experience associated with the Soviet era, and the process of its self-identification takes place in the context of digitalization and globalization (Mayatskaya, 2017; Asipova & Mamyrova, 2018; Shapoval, 2018; Baeva, 2019; Brodovskaya et al., 2019; Romanova, 2020, 2018). The complex of images of the “Alien” of the Soviet era differs from the images that appeared in the post-Soviet space, and it has its own specifics in the Caspian region, which has a significant impact on the construction of a model of “We-They” relations. Russian and foreign scientific literature only studies certain aspects of the “We-They” opposition. Having analyzed the concepts used by foreign and Russian researchers, we come to the conclusion that in most of them the opposition “We-They” is considered as the main factor of contradictions and confrontations existing in society and in the discourse of identity (Yakimovich, 2003; Ricoeur, 2008; Jackson & Hogg, 2010). The new social reality closely borders on the adopted Soviet principles and ways of understanding the world for the senior generation. The “restored fragments” of the Soviet past compensate for the lack of ideological foundations for contemporary Russia. The usual Soviet definitions of the images of

“We” and “They” (Aliens) are moving into a new ideological system being included in new discursive practices (Shulgina, 2009; Chikisheva, 2010; Andronova, 2012; Khlyshcheva, 2017). Russian researchers, cultural scientists, philosophers, political analysts and philologists write about the existence and semantic meaning, the relevance of Soviet images, nostalgic moods in the cultural space of the perestroika and modern Russia (Kaminskaya, 2008; Krylova, 2012; Sikevich, 2014; Ershov, 2015; Kauneneko, 2019; Kholova, 2020).

Materials and methods

The goal of the study is to identify the most striking images of the Soviet era and their current connotations among young students of the post-Soviet Caspian region (based on the materials of focus group interviews). Focus groups were composed of the citizens of Russia, Azerbaijan, Turkmenistan and Kazakhstan studying at Astrakhan State University. The principal achievements of this goal is resolving the following tasks: determining the main channels for transmitting images of the Soviet era among university students; identifying the degree of difference in ascertaining the connotations of images and their perception from the point of view of “alienness” among the student youth of Russia and the post-Soviet Caspian countries.

The changes in the perception of images of the Soviet era come in parallel with the lasting importance of the Caspian region from the viewpoint of natural resources, as well as a zone for creation and formation of common economic, political and cultural system. The post-Soviet Caspian region was chosen for the study, for after the collapse of the Soviet Union the common collective identity – “soviet people” – started to be replaced by national identities, and the images of the Soviet era were pushed out by the new national symbols and mythologems. The tendency to displace the patterns of Soviet and Russian cultures in post-Soviet countries may have a destructive impact on intercultural communication, historical consciousness and societal security in the region. However, a certain macro-regional community remained due to the common water area, hydrocarbon reserves, transport corridors, etc. For this reason, successful intercultural communications in this region are largely enhanced by formation of the cultural memory of the younger generation, including preservation of common patterns rooting in Soviet culture. The main hypothesis of this article is the unequal perception and preservation of the basic Soviet images in collective memory of the post-Soviet youth in the Caspian region.

To determine the trends in the perception and connotation of images of the Soviet era, six focus group interviews were conducted (a qualitative method). The scenario was developed and the questions of the interview guide were formed, which were divided into thematic blocks that meet the requirements of the research objectives. The method is used when it is necessary to make out the attitude of participants to a certain problem, to get information about the motivation of infor-



ments in a particular situation suggested by the moderator, their perception of various movements, and events. After transcribing the interviews, full-format text transcripts were compiled. To implement the objectives of the study, a purposeful selection of respondents who live in one of the post-Soviet Caspian states was used. Representatives of students' communities from post-Soviet countries involuntarily perform the function of *opinion bearers*, in which they convey the patterns received from the older generation and their own perception. During the selection of respondents and the preparation of the interview guide, the following methodological limitations were taken into account: applicability of the method to the events that reside in the memory of one or two generations; subjectivity and selectivity of the perception of informants; the complexity of processing a large number of inconsistently presented data.

In order to generalize the findings, it is necessary to use quantitative research methods in the future. The topic guide (discussion plan) was divided into two parts. In the first part, the respondents were asked questions about the attitude to the Soviet era in different generations of informants' families. The second part was devoted to the images and associations stated by the informants during the focus group.

The interview participants are students from Russia, Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan, studying at Astrakhan State University under student exchange programs. The average duration of each focused interview was about 90 minutes. Each interview involved 6 people, taking into account the gender component.

Results

To estimate the images of the Soviet era in the perception of the students of the Caspian region, young people aged from 18 to 23 years studying at Astrakhan State University – one of the largest universities of the Caspian region – were chosen as the research object. This choice proves to be illustrative, since representatives of almost all countries of the Caspian region study at this university. In the course of the research and analysis of the data obtained, we took into account the psychological aspects of the process under study, but primarily we considered the connotations given by the respondents in relation to the Soviet era images proposed by the moderator. The questions allowed us to get not just one-word responses, but detailed explanations of the respondents concerning intercultural communication. Based on the results of the analysis of a series of interviews, we have identified the most relevant up-to-day trends in relation to the Soviet images and the degree of their relevance for the students of the Caspian region.

In the course of the interview, we took into account the basic requirements to forming up a conversation scenario. At the beginning, there were general questions concerning the life of family members in the USSR era, their nostalgic moods

and possible transmission of information about the USSR in everyday conversations. Informants from all the countries note that among their relatives, parents (average years of birth – 70-75th) and grandparents lived in the Soviet Union. When asked about the nostalgic sentiments, the respondents noted the principle of constant comparison of reality with the past, where *“it was better before, almost everything: medicine, education (informant 2, Russia);*

“grandpa just often compares modern Russian equipment and the old-fashioned one, because today's often breaks” (informant 1, Russia);

“my dad always talks about the Soviet Union, and he says that the way of life was better, as well as the attitude towards people, people were kinder, he often turns to this” (informant 4, Russia);

“It was a big, great country. Potato cost 20 kopecks (informant 3, Kazakhstan);

“In general, the impression is actually dual, the country was good in some respects, that is, for example, that a human was sent into outer space, the science was at high level, the sports were well developed, on the other hand, well, there were drawbacks as different repressions, as grandmother and grandfather told me, the shelves in super-markets were empty, the choice of food stuff was poor, stuff like that (informant 1, Kazakhstan).

Communication about the Soviet Union usually occurs with the older generation:

“Yes, mostly only with the older generation, because they know better” (informant 3, Russia),

where the older generation is the initiator:

“Basically, they themselves recollect some things, if they see some unfairness of reality” (informant 4, Russia);

“We have quite an interesting system – as for remembering something negative, it is grandpa's responsibility, while grandmother is in charge of remembering something positive, and mother usually recalls some interesting stories” (informant 1, Russia);

“my parents were moving at that time when there still was... first, to one district, and then to another, they told us how they lived there, like mom's going to kindergarten, about little things, just about life (informant 3, Kazakhstan);

“Well, my parents say that is due to the fact that they faced the collapse, their childhood was strange, completely lost” (informant 2, Kazakhstan);

“No, I won't say that everything was the best in the Soviet Union... We had conversations, for example, when my mother was studying at the university, there was some shortage, a deficit. That kind of things, there was nothing categorical like “Wow, I want to return to the Soviet Union and all that”. To be honest, I really haven't heard anything like this. Well, we didn't have that in the family, talks that in the Soviet Union everything was fine and they want to return to the Soviet Union and all that” (informant 1, Turkmenistan);

“Well, they rather miss their youth because they were young in those years” (informant 6, Azerbaijan).



In each target group, there were informants who noted that, in their families, conversations about the Soviet Union, its everyday and cultural aspects, are very rare for various reasons:

"No, it's not because someone is not interested, it's not that Grandma is not interested. The fact is that, firstly, I do not have enough free time, and secondly, my grandmother lives far away, she is also busy sometimes" (informant 6, Russia);

"Yes, you know, this is such a topic that arises fleetingly, at some family feast. Earlier, for example, when I was still at school, I was an activist and participated in the Russian movement of schoolchildren, and sometimes they could compare me with the young pioneers, this movement, with the Komsomol. Sometimes they remember how interesting it was to them when they participated in these movements, well, my mother usually talked about it because she saw both of them. But we don't speak much" (informant 1, Russia).

"Well, my parents did not see [that period], they were born in 1980. They were 10 years old, so they have no particular memories. No, I'm telling you, we don't talk much about the Soviet Union. Well, just to remember some history and that's it" (informant 1, Kazakhstan).

The students focused on the cheerful and friendly atmosphere, which, according to their parents and relatives, reigned in the USSR:

"I don't know, but according to, for example, my grandmother, speaking about our relatives again, in terms of what suited her, there was everything. I mean that children could go to kindergarten, she could go to work, they went to school after kindergarten. That is, everything seemed to be better... (informant 2, Kazakhstan)"

"Yes, they miss the times when there was a superpower, so to speak, and the friendship of peoples, and a common language, so to speak. Well, the culture, of course, differed, but the language was civil, in general everything was wonderful, not counting the pitfalls, of course (informant 1, Azerbaijan).

Then, according to the scenario of the conversation, the informants were presented in turn with the main images of the Soviet era concerning the society organization and the main cultural symbols: a young pioneer (pioner – member of pioneer movement), a communist, a Bolshevik, a Komsomol member, socialism, the proletariat, a matryoshka, a communalka (communal apartment shared by different families), a worker and a collective farm girl (kolkhoznitsa). The participants were asked to use the first verbal and figurative associations that came to mind.

Note: The following are the answers of the informants separated by semicolons, grouped by country. It should be also noted that, when comparing the responses of informants, there is a strong difference in the responses of Russian informants and foreign ones, where the latter have a pronounced ignorance and confusion. All the answers are presented without changes, with the fixing of slips of the tongue. The answers of students from Turkmenistan are mostly one-word, not very detailed, which is due to a considerable language barrier.

Russia, young pioneer:

"A pupil, a student; Disciplined, straight back, neat, clean, probably smart; this is an organization, a cohort that accepted smart, good and excellent pupils; A real citizen of his state who performs a certain social role <...> Sets an example to the younger generation; I have two associations, first, these are these boy and girl wearing red ties, white shirts marching with a teacher and holding a portrait of Lenin. Well, and the second one is Yuri Gagarin because he is always a "pioneer in space".

Kazakhstan, young pioneer:

"Children of workers; but somehow there is no specific definition; some kind of youth organization, some activist one; oh, I don't remember anymore; they earned badges. Participation in all events, that is, sports, public, staff like this".

Turkmenistan, young pioneer:

"Well, I associate young pioneers only with these neckerchiefs, my mother said. Young pioneer, these red neckerchiefs, there were a Komsomol member, a young pioneer. Well, they were also given some titles for merits, for something, but... as soldiers, probably, if they are little boys, then soldiers who serve their country, Homeland; Or maybe like the YunArmia?"

Azerbaijan, young pioneer:

"Young pioneer, my mother was a young pioneer. Who is she associated with? Camp; Like Scouts in America; As my mother told me too, a red tie".

Russia, Communist:

"A person who adheres to the political ideology of the party; the person who believes in something and goes for it; a communist is a person of older age, well, more than 18 years, which went through all the stages from the Little Octobrist to the young pioneer and follows his way of life, believing in the party, believing in the principles and serving them; Again, a Communist is a person who adheres to the Communist ideology, and how I imagine him to be? Well, an ordinary person who strives for self-development, communist ideals".

Kazakhstan, communist:

"Bad words come to me at once for some reason; well, the same communists, like all sorts of commies; I don't have any opinion on this at all; I don't know where it came from; Eh, a communist is like a Jew. Because he would like to take more for himself, well, and steal it somewhere else; Well, just a person who lives under the communist regime and just, well, supports it, roots for it".

Turkmenistan, communist: All the informants replied that they did not know the meaning of the word.

Azerbaijan, communist:

"Bad person; Bad qualities. He is against politics; For some reason, some posters with repairmen pop up in my head; Well, communism is all such a negative thing. An evil person. With thick eyebrows. Wearing a bonnie hat, a fat one. Well, against the authorities; As if a person organizes rallies; Communists. The very idea of communism is associated with Freemasons, namely, I will explain. This is unity, that is, labor, labor, May, and all the rest. Not to steal, work honestly, work for the benefit of the state. Well, for



some reason I associate it with a positive image. That is, corruption cannot be present there in any way, I mean, they could have been imprisoned or sent into exile, shot on the spot. That is, I support communism”.

Russia, Bolshevik:

“A Bolshevik, well, yes, it turns out that this is a member of the Bolshevik party. As I understand it this is a much older person who has some experience and can present it to other people; A radical, perhaps, some kind against the majority”.

Kazakhstan, Bolshevik:

“The Bolsheviks are... I even knew something about them, I don't know now; Well, something was not particularly bad, as if yes, something... Nothing at all; Some kind of worker; I don't know who they are at all. As if I had heard about them somewhere, somewhere once I should have studied them, but I didn't; I don't know, I immediately imagine some kind of a guy with a big head”.

Turkmenistan, Bolshevik:

“I associate the Bolshevik only with Lenin; the Red Army”.

Azerbaijan, a Bolshevik:

“Just a man wearing uniform, who protects the state from ordinary people; Like some kind of vigilante. Yes, who, how to say, is like in the Rosgvardiya; A tall, strong man; I don't know, a man on a tank; A Bolshevik, it's more like a soldier who spreads and transmits the idea of communism. And, the Bolshevik, he, now, just a minute, I will outline... well, of course, with his ideas, who imposes his ideas”.

In the course of the conversation on the marker images of the Soviet era – a young pioneer, a communist, a Bolshevik, a Komsomol member – informants note a certain connection of the concepts, where most frequently the distinguishing factor is age:

“You know, there is a certain connection here, namely, a young pioneer, a communist and a Bolshevik. A young pioneer is about 16 to 18 years old, almost every resident of the Soviet Union is considered a communist, and the Bolsheviks, in my opinion... a typical portrait of a Bolshevik looks like this, as follows. First of all, this is an elderly, older person who may even have caught the times of Vladimir Ilyich Lenin, and then even, perhaps, took an active part in the formation of the Soviet state, who, perhaps, although quite unlikely ... zealously believes in the ideology of communism” (informant 6, Russia); In my opinion, they are like young pioneers, but older, also people with such an active life position, that is, they are... it has slipped my mind... like volunteers help at some events, here” (informant 1, Kazakhstan).

There are dismissive characteristics in the respondents' answers; the guys note some negative attitude on an intuitive, subconscious level, when they can not give a definition, but they feel the attitude. The answers of the informants from Russia were completer and more accurate in terms of the connotation of the images, but there is also bewilderment and some confusion. Additional questions

from the moderator did not always enable to expand the answers of the informants, which means that the informants do not have comprehensive knowledge.

Russia, Komsomol member:

"Member of the Komsomol Party. The associations are a newspaper; if I am not mistaken, this is the prototype of our trade union. Here, that is, they asserted the rights of students in relation to the administration of the univ... well, there were institutes, and teachers; I immediately remember the song Komsomol'tsy-dobrovol'tsy (komsomol members-volunteers), etc. Well, it turns out that they are already quite mature people who have already formed some kind of thinking and who are ready to work for their state".

Kazakhstan, Komsomol member:

"Well, Komsomol members, almost everyone, as I understand it, was a Komsomol member, all wore kerchief; as for me, this is just a Soviet community. The age range doesn't matter. Well, of course, there will not be such absolutely elderly people, but the middle-aged should probably be up to 40 years old, maybe. Well, there were, for example, those who supervised the yards, an orderly, you can say, like a chief of the house, did they also belong to them? Well, so to say, to ensure everything was quiet, so that everything was calm".

Turkmenistan, Komsomol member: The informants made a reference to the young pioneers, calling the Komsomol member and the Bolshevik similar concepts.

Azerbaijan, Komsomol member:

"Volunteer; Well, it's a volunteer who tries to to participate in Saturday cleanups, etc., goes to collective potato harvesting; Again, the image of a poster in my head like this, a man wearing socks, with flags, happy, cheerful: "Yes, I'm ready to help"; A young boy; also a poster boy wearing... a young pioneer scarf stands with a flag, hand in hand with a girl, and they are all so friendly, workaholics, volunteers, here, as it was already said".

Russia, socialism:

"Essentially, some political ideology, here, let me gather wits... assuming this stage before communism, that is, when a united people committed to a common idea and working on it; socialism, I think it is more strict than communism and it should have a similar ideology, but a little different; socialism is a sort of stage to communism, with the only difference that the first one actually exists, and the second is likely to remain a kind of a dream, a fantasy, something not feasible <...> illusory brighter future; the idea is that socialism is one big factory producing prospective Communists. Socialism cultivates those moral values that communists should have".

Kazakhstan, socialism:

"I don't know, a field, that's all. With grain; nothing at all, my sheet is blank. I do not know, in principle... I seem to know this word, it was included in the expansion of the USSR, but what it means, I have no idea. Well, this is the social system that existed under the Soviet Union, where the emphasis was placed directly on the needs of the working population".

Turkmenistan, socialism:



"Social equality; Socialism is associated with perestroika, I don't know; A social affair".

Azerbaijan, socialism:

"No idea; I would just ... well, there were some buildings, houses... Grey ones. Because many houses are still preserved, Stalinist ones, etc. They even survived the earthquake and people still live there; Socialism is when several states are united, this is how I imagine it, and they have a common infrastructure, that is, someone has better oil, someone has better fields, they plant a vegetable garden there, etc. Well, we will support each other. Economics is mixed with politics; Socialism? Well, the same thing, I have the same thoughts, that is, that all countries cooperate, help each other, support each other. That is, help is being rendered and this is like buildings are held on pillars, only instead of these pillars, these are all the countries of the Soviet Union, and the building itself is socialism".

Russia, the proletariat:

"The proletariat is the people who live in the state and are its top, not administrative top, but slightly inferior than the controlling staff; Well, most likely this is workers; as now we have service personnel, only more complicated; The proletariat, well, in the Soviet Union, all workers who work in the factories, who... well, yes, in the factories, the proletariat originates from there".

Kazakhstan, the proletariat:

"Some kind of regime, I don't know, this regime; I have a blank sheet, I basically don't understand what it is; I can't even draw it; the proletariat is the working stratum of the population, that is, well, ordinary people who don't hold leadership positions, who do ordinary work there".

Turkmenistan, the proletariat: there were no answers from the respondents.
Neither verbal nor figurative associations were given.

Azerbaijan, the proletariat:

"Nothing comes to mind at all. Rich segment... This is for the first time I hear the word. No, I heard it, but... I don't know. Well, rather, like an upperclass society, in Europe. When superior society gathers, such as Bill Gates, Rockefeller. It's like a community, a high society".

Russia, matryoshka:

"This is a doll that has another doll inside, and this doll has another doll, and so many ones inside; A national symbol of the Soviet Union, a balalaika and bears; Well, the bottom line is that it came to our country from China, so it's strange that we associate it with the Soviet Union, because it's from China; I just associate it with the past; Well, first of all, it's a symbol of the state in general. Secondly, a matryoshka doll is, on this basis, a souvenir for foreigners, for those who are interested in Russia itself. Thirdly, it is a cultural asset, a symbol of Russian culture and identity".

Kazakhstan, matryoshka:

"It's a doll. Ah no, this is a tumbler, but a matryoshka consists of different ones inside it; Well, a matryoshka is the USSR, I would say because there are so many cities united.

It's the same as a matryoshka doll, one is small, but there are a lot in it; Yes, it's just a toy with a lot of dolls".

Turkmenistan, matryoshka:

"A toy. A toy and a souvenir".

Azerbaijan, matryoshka:

"Some kind of doll; Well, such a big doll, small ones inside, and that's all, nothing else; The same thing, we still have it somewhere in our chests. A Russian doll. Wearing a kerchief. With ruddy cheeks; Well, a Russian woman, with a scarf, her cheeks are red; Well, here is a matryoshka, a tumbler – these are children's toys that are on the shelves now. It is one in another, one in another".

Russia, comunalka (communal apartment):

"Now we associate comunalka with dormitories, which are divided by corridors, and there are apartments where people live. Earlier, it seems to me, this had a slightly different character, I mean these are houses, dwellings for people who have little money to purchase a good one; A comunalka? You see, where I live now, a hostel, to some extent can also be considered a comunalka, since there are also long corridors and a lot of apartments and that sort of things. At least I have an association with this; well, from what has been said, it seems to me that this is some kind of fun, a certain spirit, when everyone is around. It's one thing when you live in a house where there's nobody except your family, but this is when everyone is together, just like a honeycomb. That is, it is a large building where there are a lot of people, and perhaps in the evenings they gather to talk. Just such a spirit of friendship, as it were; well, for me it's poverty. In Soviet times, people did not live very well; well, like a modern three-room apartment, but not only one family lives in it, but a dozen, and each has its own bedroom and bathroom, and they all share a kitchen. This is a comunalka".

Kazakhstan, comunalka:

"An apartment that is divided into rooms in which different people live separately; this is an apartment divided into rooms, sometimes even into corners. My grandmother told me, that could be a room, roughly speaking, two corners belonged to one family, two other corners – to another family. This is too much".

Turkmenistan, comunalka:

"This is payment for an apartment. Maybe it's an apartment that... although, everyone did pay. Well, there are two options. For this apartment, you need to pay the utility bills, the second option is you don't pay the utility bills".

Azerbaijan, comunalka:

"An apartment. For the gas, the light. Like a dorm. Where several families live. For some reason, the dormitory is my first idea. More people, less oxygen. The fewer, the better cheer. Yes, several families, someone had a fight, someone heard that, and reported [to the police]".

Russia, a worker and a collective farm girl (kolkhoznitsa):



“Well, this is a monument in Moscow. Well, in general, as the main population strata, well, as a symbol of the USSR. That is, those working at the factory and working in the field. if we abstract our mind from the monument, then the worker and the collective farmer are not only a symbol of the USSR, but also the main class, the stratum of the population that the state pays attention to; In addition to the monument – they are a symbol of the main classes; Well, a collective farm girl and a worker, I don't know. I have such an idea that this is a husband and wife, that a worker is a proletarian who is engaged in heavy industry of some kind, well, at factories and so on. A collective farm girl-she harvests grain and millet in the fields”.

Kazakhstan, a worker and a collective farm girl:

“Well, these are these statuettes, she is holding a sickle, and he is with a hammer; I also remember this emblem on the flag of the USSR; No, it was... what was its name, but there was a yellow emblem on a red background; It was the coat of arms. Coat of Arms of the USSR. Planets, flags, which are everywhere, wherever it was possible, just like now. The coat of arms of Russia, too, is everywhere; Well, the same as the symbol of the USSR, only I also remembered about Mosfilm company, they seemed to have them on their logo. Soyuzfilm company seems to have them too”.

Turkmenistan, a worker and a collective farm girl:

“Who works in the field. The one who works in the field, in the gardens, they have their own rent. And the working class is probably a factory. Yes, we use “kolkhoz” (collective farm). Kolkhoz- it's like a village. It's about agriculture, they grow something, they have rent there, cotton, everything like that. We have a village, here, they are mainly engaged in this stuff”.

Azerbaijan, a worker and a collective farm girl:

“I don't know, a worker and a collective farm girl, the first thing that comes to me is ... bills, I did something about a collective farm girl. She arrives from the village, I don't even know, wearing a smart dress, something else. A worker who worked at a factory, and a collective farm girl is a villager – having her own vegetable garden, a milkmaid, etc. Agricultural industry. Well, a collective farm girl is responsible for an agricultural farm, and a worker, a person who works, for example, at a factory, that is, conducts the same everyday work that is used in agriculture. That is, they have a connection in some sense; a worker- an agricultural farm”.

Despite the sympathies expressed towards the multinational Soviet Union, in their responses xenophobia was present, due to political and ideological influences in the state:

“Well, the fact is that in some parts of Kazakhstan, there is a little bit like this... the expulsion of the Russians, let's say. <They> are not on their own land” (Kazakhstan).

Conclusion

Ideas of one's own past are an integral part of culture. Awareness of common historical roots is especially important in the context of globalization and digitalization. The common Soviet history could become the basis for the citizens of the post-Soviet Caspian states to realize their common identity and cultural

memory. However, as the Soviet model of culture has ceased to exist as a single entity, it is gradually blurring for the younger generation. It should be noted that the materials obtained through the use of a qualitative method – a focused group interview, will be further expanded using quantitative methods. This is necessary for the quantitative verification of data and the exclusion of a subjective approach to the research problem. The study proved that the most significant sources of constructing images of the Soviet era among young students were everyday interests and nostalgic memories of the older generation, which was actually brought up and lived its adult life under the Soviet ideology. There is a gradual traditional transition from one cultural paradigm, the Soviet one, to the modern one. This factor should be taken into account when planning strategies for constructing and spreading images of the Soviet era, as a connecting element for the neighboring states of the post-Soviet Caspian region. Due to such qualitative and subsequently quantitative studies we can record significant changes in the value sphere and the system of socially significant images. Soviet images-pillars of social and cultural significance – “young pioneers”, “Komsomol members”, “communists” – are receding into the past, remaining in the memory of the younger generation in the form of associative rows that bear references to contemporary phenomena: “YunArmia” (Young Army), “Rosgvardiya” (Federal National Guard Troops Service), “volunteers”. Comparative constructions are a clear indication that determines the peculiarities of mentality of native speakers, reflecting the state and dynamics of changes in public consciousness. The speech behavior recorded during the focus group interviews was manifested through the informants’ automatic and unconscious choice of a comparative construction, and reflects the cultural characteristics of the individual. The appeal to the personalities of the Soviet era indicates that they are the main symbols associated with the images of the Soviet era. The answers of the informants combine a positive and negative attitude to the objects associated with the Soviet era.

The study recorded the historical transition, where nostalgic moods for the Soviet era are no longer characteristic of the younger generation. These provisions allow us to recognize that the formation of a new identity for the Russian population and the population of the Caspian states is possible with the record and acceptance of the Soviet experience as the common past, a completed stage of history and the subsequent well-defined creation of new cultural models and their own images of culture and epoch. In the current social reality, Soviet images do not appear unified and integral, but rather ambivalent and contradictory, which puts uncertainty and instability in the national identity of Caspian students. Each of the focus groups highlighted the common qualities for the proposed Soviet images, namely diligence, talent in work, patience, collective forms of work and property, a tendency to obey the authorities. The material culture of the USSR is represented minimally in the respondents' minds, and it is associated with similar symbols



in modern popular culture, with frequent reference to visualization and verbal description of the image.

Soviet images in the minds of the students of post-Soviet states are primarily visualized: either through vestigial markers, for example, a young pioneer is associated with a red tie, sometimes with it only, or through associations with modern institutions – YunArmia and American Scouts, or through caricature characters: “a communist – a man with a big head”. Russian students are much more fully and clearly informed about communists, Bolsheviks and other images and symbols of the Soviet era. Representatives of Kazakhstan and Azerbaijan more often use a negative connotation in the description. At the same time, their visual images and verbal descriptions are quite diverse, which may be due to good command of the Russian language.

Respondents from Turkmenistan most often refuse to answer questions due to complete ignorance of the meanings of symbols and absence of any associations. The respondents speak Russian well, but perhaps not at a sufficient level to express associations. Besides, the laconic nature of the answers may be a consequence of the cultural closeness of Turkmenistan since the beginning of Perestroika, when Turkmenistan restricted contacts with the outside world. Turkmenistan's domestic cultural policy is dominated by Turkmen discourse, while Russian and even more so Soviet discourses are minimized, despite active economic contacts with Russia. In spite of the fact that almost all respondents from the post-Soviet Caspian region note the mainstream trend towards decommunization of their states, the level and nature of the perception of Soviet images in these countries are uneven, which confirms the hypothesis we suggested earlier.

Interpretation of the historical past is an important tool transforming mass consciousness. According to the results of qualitative research, the images of the Soviet era are interpreted as dual. Positive socio-cultural trends associated with the mentioned images are not emphasized enough, while the main channel of transmitting is family and family traditions, stories of close relatives who want to return to the past and immerse in the world of their childhood.

The answers of respondents in the first block of the topic guide about the nostalgic moods of the older generation indicate the predominance of restorative nostalgia, which obscures the problems of the past and offers a tempting, but extremely dangerous view of such a smoothed past. Senior generation conveys a romanticized image of the Soviet era, focusing not on the meaning of individual symbols, but on the general perception of the USSR. This trend suggests creation of favorable ground for mythologization of historical consciousness and threat to cultural security in the case of substitution of concepts and distortion of historical truth. Nevertheless, a common historical memory and a wise and balanced memory policy can act as soft power resources for cultural rapprochement in the post-Soviet Caspian region and formation of a positive model of intercultural interaction.

Acknowledgments

The reported study was funded by RFBR, project number 19-311-90034 “Transformation of the image of the Alien in the culture of the post-Soviet space of the Caspian macro-region”.

References

- Aliev, R. T., & Avtorkhanova D.M. (2018). Evolution of Approaches to the Problem of the Other/Alien: From Philosophical Understanding to the Phenomenon of the Other/Alien as an Object of Historical and Cultural Discourse. Part 2. *Philosophy and Culture*, 6, 48-57.
<https://doi.org/10.7256/2454-0757.2018.6.26571> (In Russian).
- Andronova, I. V. (2012). Evolution of Integration Processes in the Post-Soviet Space. *Vestnik of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Economics*, 5, 72-81 (In Russian).
- Asipova, N. A., & Mamyrova, M. I. (2018). Studentship as a Special Social Group in the Context of Ethno-Cultural Socialization. *International Journal of Applied and Basic Research*, 6, 175-179 (In Russian).
- Baeva, L. (2019). The Existentials Theory of M. Heidegger and M. Boss and the Analysis of Human Existence in the Conditions of Electronic Culture. *Voprosy Filosofii*, 4, 24-33.
<https://doi.org/10.31857/S004287440004789-2> (In Russian).
- Brodovskaya, E. V., Dombrovskaya, A. Y., Pyrma, R. V., Azarov, A. A., & Karzubov, D. N. (2019). Youth of Russia in the Digital Space: Foundations of Differentiation of Strategies of Internet Behavior. *Srednerussky Vestnik of Social Sciences*, 14(1), 37-58 (In Russian).
- Chikisheva, A. S. (2010). Eclecticism of Contemporary Russian Culture: Soviet, Post-Soviet, and Russian. *Bulletin of the Center for International Education of Moscow State University. Philology. Culturology. Pedagogy. Methodology*, 3, 79-83 (In Russian).
- Ershov, M. F. (2015). Hidden Meaningful Images of the Soviet Era. In M. V. Vorobyova, M. V. Kapkan, A. V. Medvedev, L. A. Myasnikova, R. M. Nikolaev, E. A. Popov, & E. I. Rabinovich (Eds.), *Soviet Socioluture Project: Historical Chance or Global Antiutopia X Kolosnitsyn Readings: Materials of International Scientific Conference* (pp. 42-47). Autonomous non-profit organization of higher education “Humanitarian University” (In Russian).
- Jackson, R. L., II, & Hogg, M. A. (Eds.). (2010). Religious Identity. In *Encyclopedia of Identity*. SAGE Publications, Inc.
- Kaminskaya, T. L. (2008). Images of the Soviet Era and Target Audiences of the Media Field. *Vestnik (Herald) of St. Petersburg University. Language and Literature*, 4-2, 323-328 (In Russian).
- Kaunenکو, I. I. (2019). “The Svoi, the Stranger, the Other”- the Image of Russia in Different Generations of the Republic of Moldova. In I. N. P. Stepanova & S. M. Gubanenkova (Eds.), *Intercultural Dialog and the Challenges of Modernity: Friends And Inaccuracies In The Own And The Other Collection of scientific articles on the materials of the International Scientific Conference* (pp. 14-20). LLC “Module-K” (In Russian).
- Khlyshcheva, E. V. (2017). “Alien” versus “Neoalien”: Towards the Problem of Transformation of Migrants' Adaptation Practices in Europe and Russia. *Man. Community. Management*, 18(4), 99-120 (In Russian).



- KHolova, L. A. (2020). Forms of Reflection of Nostalgia for the Soviet Era in the Internet Space. *Scientific Notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Philosophy. Political Science. Cultural Studies*, 5(71), 86–96 (In Russian).
- Krylova, M. N. (2012). Images of the Soviet Era: Fragments of the Dictionary of Comparative Objects. *Labyrinth. Journal of Socio-Humanitarian Research*, 5, 78–84 (In Russian).
- Mayatskaya, O. B. (2017). The Influence of the Internet on the Value Attitudes of the Young Generation of Russians. *Bulletin of Science and Practice*, 12(25), 354–358 (In Russian).
- Ricoeur, P. (2008). *I-Self as the Other*. Humanitarian Literature Publishers (In Russian).
- Romanova A.P., S.N. Yakushenkov, E.V. Khlyshcheva [et al.] (2018.) *Many Faced Other. Invariance of images of the Other/Alien*. Sorokin Roman Vasilievich (In Russian).
- Romanova, A. P. (2020). Collective Memory And Generation Gap. *Voprosy Filosofii*, 6, 33–37. <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2020-6-33-37> (In Russian).
- Romanova, A. P., Khlyshcheva, E. V., Yakushenkov, S. N., & Topchiev, M. S. (2013). *Alien and Cultural Security*. ROSPEN (In Russian).
- Shapoval, E. A. (2018). The Influence of the Internet Space on Modern Youth. In S. E. Turkulets & E. V. Listopadova (Eds.), *Law and order: Theory and practice* (pp. 244–249). DVGUPS (In Russian).
- Shulgina, D. N. (2009). Global “Stranger”/ “Other”–Sociocultural Transformations in the Conditions of Globalization. *Vestnik Voronezh State Technical University*, 5(10), 215–217 (In Russian).
- Sikevich, Z. V. (2014). Historical Past in the Social Expectations of Russians. *Vestnik (Herald) of St. Petersburg University. Sociology*, 2, 196–206 (In Russian).
- Yakimovich, A. K. (2003). “Svoi–Alien” in Systems of Culture. *Voprosy filosofii*, 48–60 (In Russian).

Список литературы

- Jackson, R. L., II, & Hogg, M. A. (Ред.). (2010). Religious Identity. В *Encyclopedia of Identity* (Т. 2). SAGE Publications, Inc.
- Алиев, Р. Т., & Авторханова Д. М. (2018). Эволюция подходов к проблеме Другого/Чужого: от философского осмысления к феномену Другого/Чужого как объекту историко-культурологического дискурса. Часть 2. *Философия и культура*, (6), 48–57. <https://doi.org/10.7256/2454-0757.2018.6.26571>
- Андропова, И. В. (2012). Эволюция интеграционных процессов на постсоветском пространстве. *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика*, 5, 72–81.
- Асипова, Н. А., & Мамырова, М. И. (2018). Студенчество как особая социальная группа в контексте этнокультурной социализации. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, 6, 175–179.
- Баева, Л. В. (2019). Теория экзистенциалов М. Хайдеггера и М. Босса и анализ существования человека в условиях электронной культуры. *Вопросы философии*, 4, 24–33. <https://doi.org/10.31857/S004287440004789-2>

- Бродовская, Е. В., Домбровская, А. Ю., Пырма, Р. В., Азаров, А. А., & Карзубов, Д. Н. (2019). Молодежь России в цифровом пространстве: Основания дифференциации стратегий интернет-поведения. *Среднерусский вестник общественных наук*, 14(1), 37–58.
- Ершов, М. Ф. (2015). Скрытые значимые образы советской эпохи. В М. В. Воробьева, М. В. Капкан, А. В. Медведев, Л. А. Мясникова, Р. М. Николаев, Е. А. Попов, & Е. И. Рабинович (Ред.), *Советский социокультурный проект: исторический шанс или глобальная антиутопия X Колосницынские чтения: материалы международной научной конференции*. (с. 42–47). Автономная некоммерческая организация высшего образования «Гуманитарный университет».
- Каминская, Т. Л. (2008). Образы советской эпохи и целевые аудитории медиаполя. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература*, 4–2, 323–328.
- Кауненко, И. И. (2019). «Свой, Чужой, Другой»– образ России у разных поколений Республики Молдова. В В. П. Степанова & С. М. Губаненкова (Ред.), *Межкультурный диалог и вызовы современности: дружба и инаковость в своём и родном Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции* (с. 14–20). ООО «Модуль-К».
- Крылова, М. Н. (2012). Образы советской эпохи: Фрагменты словаря объектов сравнений. *Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований*, 5, 078–084.
- Маяцкая, О. Б. (2017). Влияние сети Интернет на ценностные установки молодого поколения россиян. *Бюллетень науки и практики*, 12 (25), 354–358.
- Рикёр, П. (2008). *Я-сам как другой*. Издательство гуманитарной литературы.
- Романова А.П., С.Н. Якушенков, Е.В. Хлыщева [и др.] (2018). *Многоликий Другой. Инвариантность образов Другого/Чужого*. Сорокин Роман Васильевич.
- Романова, А. П. (2020). Коллективная память и поколенческий разрыв. *Вопросы философии*, 6, 33–37. <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2020-6-33-37>
- Романова, А. П., Хлыщева, Е. В., Якушенков, С. Н., & Топчиев, М. С. (2013). *Чужой и культурная безопасность*. РОСПЭН.
- Сикевич, З. В. (2014). Историческое прошлое в социальных ожиданиях россиян. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология*, 2, 196–206.
- Хлыщева, Е. В. (2017). «Чужой» versus «Неочужой»: К проблеме трансформации адаптационных практик мигрантов в Европе и России. *Человек. Сообщество. Управление*, 18(4).
- Холова, Л. А. (2020). Формы отражения ностальгии по советской эпохе в интернет-пространстве. *Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Философия. Политология. Культурология*, 5(71), 86–96.
- Чикишева, А. С. (2010). Эkleктизм современной российской культуры: Советское, постсоветское, российское. *Вестник Центра Международного Образования Московского Государственного Университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика*, 3, 79–83.
- Шаповал, Е. А. (2018). Влияние интернет-пространства на современную молодежь. В С. Е. Туркулец & Е. В. Листопадова (Ред.), *Законность и правопорядок: Теория и практика* (с. 244–249). ДВГУПС.
- Шульгина, Д. Н. (2009). Глобальный «Чужой» / «Другой»—Социокультурные Трансформации в условиях глобализации. *Вестник Воронежского Государственного Технического Университета*, 5(10), 215–217.



Якимович, А. К. (2003). «Свой-чужой» в системах культуры. Вопросы Философии, 4, 48-60.

Imperial Power and The Policy of Transformation of the Outlying Lands: Review: Khodyakov, M. V. (Ed.), (2021). *Center and Regions: Economic Policy of the Government on the Outlying Lands of the Russian Empire (1894–1917)*. Publishing House of St. Petersburg University

Konstantin I. Zubkov¹, Igor V. Poberezhnikov² & Georgy N. Shumkin³

Institute of History and Archaeology Ural Branch of the RAS. Yekaterinburg, Russia

Abstract

The article examines the structure and content of the monograph “Center and Regions: Economic Policy of the Government on the Outlying Lands of the Russian Empire (1894–1917)” which was prepared by a team of St. Petersburg and Moscow historians under the editorship of M.V. Khodyakov; it analyzes the characteristic features of the authors’ approaches and the significance of this work for current practices of studying the Russian Empire’s outlying areas. This monograph is a non-ordinary historiographical phenomenon in terms of its goals (to give an integral, comprehensive view of the economic policy of the center in relation to the “outlying regions”), the number of tasks implemented and the total extend of the work done. The monograph includes 31 paragraphs, each devoted to poorly studied or entirely unexplored problems. However, due to the unsatisfactory elaboration of fundamental theoretical and conceptual issues, as well as the scale of the project, and the limited time span set for its implementation, the reviewed work contains a number of shortcomings: a weak introduction (especially a historiographical survey), superficial conclusions (or their absence in paragraphs), the inconsistency of the subject of some paragraphs with the matter of economic policy. But despite of all the shortcomings, this work represents a significant contribution to the study of the frontier spaces of Russia as regards both the concrete historical material introduced into scientific circulation, and the non-trivial attempt itself to create a generalizing picture of imperial economic policy on the outlying areas of Russia in the late 19th – early 20th centuries.

Keywords

Periphery; Outlying Lands; Russian Empire; Economic Policy; Modernization; Far East; Central Asia; Caucasus; Baltics; Western Territory



This work is licensed under a [Creative Commons “Attribution” 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1 Email: [zubkov.konstantin\[at\]gmail.com](mailto:zubkov.konstantin[at]gmail.com)

2 Email: [pober1871\[at\]mail.ru](mailto:pober1871[at]mail.ru)

3 Email: [shumk\[at\]mail.ru](mailto:shumk[at]mail.ru)



Имперская власть и политика преобразования окраин: рецензия на книгу: Ходяков, М. В. (Ред.), (2021). *Центр и регионы: экономическая политика правительства на окраинах Российской империи (1894–1917)*. Издательство Санкт-Петербургского университета

Зубков Константин Иванович¹, Побережников Игорь Васильевич²,
Шумкин Георгий Николаевич³

Институт истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург, Россия

Аннотация

В статье рассматриваются структура и содержание монографии «Центр и регионы: экономическая политика правительства на окраинах Российской империи (1894–1917)», которая подготовлена коллективом петербургских и московских историков под редакцией М.В. Ходякова; анализируются особенности авторских подходов и значение этой работы для современных практик изучения окраин Российской империи. Эта монография по своим целям (дать целостную, комплексную характеристику экономической политики центра в отношении «регионов-окраин»), количеству реализованных задач и общему объему проделанной работы представляет собой нерядовое историографическое явление. Монография включает 31 параграф, каждый из которых посвящен малоизученной или ранее не изучавшейся проблематике. Однако вследствие неудовлетворительной проработки принципиальных теоретико-концептуальных вопросов, а также масштабности проекта и ограниченности временных лимитов, отведенных на его реализацию, рецензируемый труд содержит ряд недостатков: слабое введение (особенно историографический обзор), поверхностные выводы (или их отсутствие в параграфах), несоответствие предметного поля некоторых параграфов проблематике экономической политики. Но, несмотря на все недостатки, эта работа представляет собой значительный вклад в изучение фронтирных пространств России как с точки зрения введенного в научный оборот конкретно-исторического материала, так и самой нетривиальной попытки создания обобщающей картины имперской экономической политики на окраинах России конца XIX – начала XX вв.

Ключевые слова

периферия; окраины; Российская империя; экономическая политика; модернизация; Дальний Восток; Средняя Азия; Кавказ; Прибалтика; Западный край



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons “Attribution” \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1 Email: zubkov.konstantin[at]gmail.com

2 Email: pober187[at]mail.ru

3 Email: shumk[at]mail.ru

Введение

Внимание российских историков к изучению особенностей развития обширных окраин такого сложного государственного организма, как Российская империя, и курса правительственной политики, проводимой в отношении этих территорий, относится к сфере их давних (можно сказать, традиционных, широко развивавшихся еще с XIX в.) научных интересов. Практически в каждом крупном регионе современной России (Сибирь, Дальний Восток, Север, Кавказ и др.), а также в постсоветских государствах (Закавказье, Прибалтика, Центральная Азия), представлены научно-исторические школы и направления, которые в разных аспектах рассматривают содержание и исторические последствия имперской политики в отношении соответствующих окраин. Рецензируемая монография петербургских историков (Ходяков, 2021) в этом контексте представляет собой нерядовое историографическое явление, поскольку авторы поставили перед собой и, в соответствии со своим пониманием проблемы, попытались реализовать масштабную и амбициозную задачу – вместо мозаики региональных сегментов, из которых вынужденно формируются наши представления о направленности имперской политики на окраинах, дать целостную, комплексную характеристику экономической политики центра в отношении «регионов-окраин» (2021, с. 8) в период поздней Российской империи (1894–1917 гг.), когда процессы ее экономической и социально-политической трансформации приобрели интенсивный характер. Уже по одному этому критерию монография заслуживает особого внимания и может претендовать на значение заметного нового шага в историографическом осмыслении данной многоплановой темы.

Авторы монографии, в силу содержательной необъятности заявленной темы, стояли перед сложными дилеммами и в целом избрали оптимальный проблемно-тематический формат своего исследования. Они признают, что монография, по сути, представляет собой собрание «очерков, в которых рассматриваются отдельные сюжеты из экономической истории ряда регионов» (2021, с. 8), но при этом фокусом исследования делают ряд ключевых проблем развития имперских окраин, имевших наибольший резонанс в обществе в указанный период и занимавших общественное мнение. Перечень этих проблем (переселенческая политика, трудовая миграция, аграрные отношения, земская деятельность, русификация окраин) убеждает, однако, что это – вопросы, не только находившиеся на пике общественного интереса, но и объективно представлявшие собой стержневые направления политики развития окраин, ее квинтэссенцию. Во всяком случае, избранный авторами формат раскрытия темы представляется нам оправданным и, вероятно, единственно возможным для решения поставленной ими проблемы выявления общего и особенного в имперской политике преобразования и развития окраин. Даже при столь «экономном» подходе весьма солидный



объем монографии (более 40 п.л., 4 части, 10 глав, 31 параграф) свидетельствует об огромной источниковой и исследовательской работе авторского коллектива. При этом каждый параграф, если не касаться частных, представляет собой качественно выполненное конкретно-историческое исследование, посвященное слабоизученным (или неизученным) аспектам отечественной истории конца XIX – начала XX вв.

Представляя себе те трудности, которые обычно стоят перед авторами коллективных обобщающих работ крупного формата при выработке единого концептуального подхода и общих выводов, изданную монографию в целом мы можем считать результативной и полезной, хотя известная разноплановость в освещении темы и трактовке ключевых понятий в таких случаях становится почти неизбежной. Позволим себе кратко охарактеризовать содержательную структуру издания, обратив при этом особое внимание на ее соответствие основному предмету исследования – правительственной экономической политике.

Структурные разделы монографии: достоинства и промахи

Первая часть книги («Освоение Дальнего Востока в геополитических и экономических планах России конца XIX – начала XX вв.») включает четыре главы. Из них две – первая («Дальневосточная окраина: своя и чужая земля») и третья («Маньчжурия накануне и в годы Первой мировой войны»), «выходят» за рубежи собственно Российской империи в Маньчжурию – на КВЖД и в Харбин. В двух оставшихся главах – второй («Русский Дальний Восток в планах правительства на рубеже веков») и четвертой («Миграционные процессы и экономика Дальнего Востока в конце XIX – начале XX вв.») – основное внимание сосредоточено на различных аспектах миграционных процессов. В трех параграфах второй главы разбирается проблема освоения края русским населением, в двух параграфах четвертой главы – трудовая миграция из Китая и рабочий вопрос на Дальнем Востоке. Третий параграф четвертой главы посвящен политике по охране биологических ресурсов Тихоокеанского побережья России в конце XIX – начале XX вв.

Вторая часть «Российское самодержавие и экономическая политика в отношении Средней Азии» состоит из двух глав. В пятой главе («Подготовка управления русским Туркестаном в начале XX века: хозяйственно-экономические аспекты») главная сюжетная линия строится вокруг вопроса о передаче Туркестана из ведения Военного министерства в структуру МВД, т.е. вопроса, относящегося преимущественно к сфере административной политики. Параграфы 5.1 и 5.2 не очень удачны. Даже их названия почти дословно повторяют друг друга: «Проекты реформ в начале XX века» и «Проекты и перспективы реформ в Туркестане между двух революций». У читателя закономерно возникает вопрос: почему нельзя было их объединить, если оба параграфа посвя-

щены проектам административного переустройства Туркестана? Параграф 5.3 по содержанию в наибольшей степени соответствует общепринятому пониманию экономической политики – в нем рассматривается проблема освоения и колонизации Голодной степи в Туркестане.

Шестая глава представляет больше интереса в контексте изучения экономической истории, но не истории правительственной экономической политики, так как два из трех параграфов этой главы посвящены анализу деятельности среднеазиатских отделений Русско-Азиатского банка, который, в строгом смысле, не являлся проводником правительственной политики. В третьем параграфе этой главы рассмотрены мнения депутатов Государственной Думы по проблемам развития Туркестана.

Наиболее удачна (с позиций традиционного представления о предмете экономической политики) третья часть – «Имперская экономическая политика на Кавказе в конце XIX – начале XX века», включающая две главы. В седьмой главе рассматривается политика правительства в нефтедобывающей отрасли, в восьмой – в сфере аграрного освоения и развития курортного дела. Седьмая глава выделяется своей основательностью; здесь, однако, в очередной раз проявился тот уже устоявшийся в нашей новейшей историографии стереотип, согласно которому любые реформы первого десятилетия правления Николая II (и притом неважно в какой сфере) обязательно связываются с личностью С. Ю. Витте: «Политика финансового ведомства во многом способствовала значительным успехам в развитии нефтяной промышленности к началу XX в.» (2021, с. 11). Вероятно, автор прав, но ему все-таки стоило бы объяснить «административный парадокс»: почему нефтедобыча находилась в ведении Министерства земледелия и государственных имуществ, а политику в этой отрасли проводил министр финансов.

В восьмой главе рассматриваются сразу несколько направлений экономической политики. Это и стимулирование хозяйственного освоения края, и колонизация русскими Мугабской степи, и развитие курортного дела на Северном Кавказе. К достоинствам главы можно отнести работу с источниками национального архива Грузии, доступ к которым в настоящее время большинству российских исследователей затруднен.

Четвертая часть («Особенности осуществления экономической политики России в Западном крае и Прибалтике на рубеже веков») состоит из двух глав. Если в девятой главе действительно разбираются вопросы экономической политики (две параграфа посвящены вопросам миграций, а третий – проблеме чиншевого права), то в десятой – анализируются мнения журналистов, общественных деятелей и депутатов по социально-экономическим проблемам Прибалтики.

И, хотя параграфы книги посвящены самым разным аспектам экономической (да и не только экономической) политики и собственно экономики, стилистически и композиционно большинство параграфов отличает отсут-



ствие выводов. С одной стороны, это, конечно, облегчает задачу автора, избавляя его от необходимости сводить тематически разнородное и не всегда согласное с предметом экономической политики содержание своего текста; с другой, это вызывает у читателя ощущение недосказанности, незавершенности тех процессов социально-экономического развития, которые охватили окраины Российской империи в начале XX в. и были внезапно прерваны революцией и гражданской войной. Хотелось бы, чтобы авторы каким-то образом обосновали этот прием – все-таки большинство историков разделяет убеждение в обязательности промежуточных выводов. Отсутствие выводов по параграфам, по-видимому, сказалось и на качестве Заключения (о чем будет сказано ниже).

О методологии и методах исследования

Говоря об общем замысле данной работы, нельзя все же не высказать еще несколько замечаний, которые призваны не только указать авторам на слабости работы, но и побудить их к дальнейшим углубленным размышлениям над избранной темой. Если название монографии – «Центр и регионы» – хотя и является довольно избитым, трафаретным, но в целом верно намечает контуры исследования, то основную смысловую нагрузку несет, конечно, вторая, уточняющая, часть названия – «Экономическая политика правительства на окраинах Российской империи (1894–1917)». Думается, что представленный в монографии конкретно-исторический материал, касающийся политики правительства в отношении окраин, нельзя свести только к экономической политике. Ведь и в самой монографии авторы вынуждены вести речь также и о политике военного ведомства, и о подходах властей к социально-демографической и этноконфессиональной политике, и о комплексном решении чисто политических проблем, в том числе о земствах, о системе политического представительства окраин. Сама переселенческая политика, как известно, в видах правительств не только должна была отвечать экономическим целям, но и способствовать, с одной стороны, снижению социальной напряженности в центре страны, а с другой – ускоренной русификации окраин.

Нерасчлененность того, что мы называем правительственной политикой в отношении окраин, ощущается и самими авторами, которые заранее оговариваются насчет сопряженности экономических мероприятий с соображениями этноконфессиональной и социальной политики (например, в Западном крае и Прибалтике) (2021, с. 8). На Дальнем Востоке мы можем наблюдать тесную увязку экономической политики с военно-стратегическими приоритетами и, если говорить о корейской и китайской трудовой миграции, то и с поддержанием безопасного для империи демографического баланса. При этом в ряде случаев экономику вообще трудно считать главным направле-

нием правительственной политики, а все остальное – лишь сопутствующими ей факторами; скорее наоборот, экономические меры обретали свой смысл как средство решения гораздо более сложных и острых проблем политического свойства, касающихся безопасности империи, – как это виделось правительственной бюрократии. Нетривиальный вопрос о том, что было определяющим в правительственной политике – экономика или геополитика (который авторы анализируют применительно к историографической дискуссии о мотивах политики Российской империи в Средней Азии), на самом деле касается и большинства окраинных территорий (Алексеев, 2004). В этой связи сами собой возникают вопросы о какой-то более широкой, чем экономика, интегрирующей основе государственного интереса к развитию окраин; о социально-политической природе Российской империи как государственного организма; о направленности ее эволюции в конце XIX – начале XX вв. Словом, возникает потребность в ясном теоретическом понимании авторами ряда вопросов, которые позволили бы определенным образом трактовать общий подход правительства к политике преобразования и развития окраин. В ряде случаев авторы довольно близко подходят к такому пониманию, усматривая в качестве смыслового стержня правительственной политики стремление к унификации «законодательства и экономического пространства», к «национализации» империи. К сожалению, авторы монографии недостаточно развивают этот взгляд, сужая поле исследования до проблем экономической трансформации окраин, в то время как речь должна идти о всеобъемлющей институциональной трансформации «военной империи» (термин С. Ю. Витте) (Витте, 1991, с. 509), «национально-военного государства» (юридическая дефиниция начала XX в.) (Политический строй современных государств, 1905, с. VI–VII), с присущими им практиками хозяйствования и социального управления, в современное, унифицированное в гражданско-политическом отношении, национальное государство. В развитии такого взгляда авторам, на наш взгляд, очень способствовало бы обращение к теории модернизации в ее современных прочтениях (Алексеев, 2000; Алексеев, 2011; Побережников, 2006). Новый взгляд на модернизацию исходит из признания множественности траекторий модернизации, относя Российскую империю (как и ряд других стран – например, Японию, Китай, Османскую империю) к странам, реализовавшим модель т.н. «постабсолютистской» модернизации, основанную на активной и многоплановой роли государства в процессах трансформации страны, на способности (или, по крайней мере, претензии) «надклассовой» абсолютистской власти аккумулировать разнообразные общественные интересы и адекватно управлять ими в общем ходе поступательного развития (Побережников, 2016, с. 67–74; Зубков, 2017, с. 61–70). Авторы монографии, к сожалению, остаются на почве старых, quasi-марксистских взглядов, усматривая в качестве главной тенденции развития империи нарастающее противостояние самодержавия и конституционного народовластия, «вертикали» «административно-бюрокра-



тической репрессивной системы» и основанной на децентрализации местной инициативы (2021, с. 7), т.е. трактуя имперскую власть как преимущественно косную, реакционно-охранительную, полуфеодалную силу, стоящую на пути буржуазно-либерального прогресса. С такой упрощенной трактовкой очень трудно согласовать тот содержащийся в монографии богатый конкретно-исторический материал, который посвящен правительственным проектам обустройства и развития окраин.

Вопросам теоретико-методологического обоснования авторской концепции в монографии вообще уделено до крайности мало внимания. Во Введении набору идей и принципов компоновки материала, которые хоть в какой-то степени можно отнести к методологии исследования, посвящена едва ли пара страниц. Возможно, на это повлиял «сборный» характер подготовки монографии, при котором целое, как правило, выглядит хуже и беднее, чем слагающие его отдельные части. Это очень хорошо видно по довольно слабому и куцему на общем фоне Заключение книги (2021, с. 607–614), где основные выводы целиком привязаны к «блочной» структуре исследования (т.е. даны по отдельным окраинным территориям) и где нет ожидаемого выхода на более высокий уровень обобщения, который позволял бы охарактеризовать общие подходы правительства в политике развития окраин, а, следовательно, и более четко увидеть специфику развития отдельных регионов. При этом в Заключении больше говорится о различных общественных реакциях на правительственную политику, чем о самой этой политике.

Еще одно замечание общего характера касается избранной авторами хронологии исследования. Последняя целиком привязана к царствованию Николая II, а внутри этого периода основной материал неоправданно смещен к периоду после революции 1905–1907 гг. (т.н. период «думской монархии»), хотя хорошо известно, что все основные направления правительственной политики по преобразованию окраин – приостановка территориальной экспансии и переход от военной «сборки» имперского здания к интеграции отличавшихся большой спецификой окраин в общегосударственную систему управления, политика русификации западных частей империи, активная поддержка государством переселенческого движения – были заложены еще в период правления его предшественника, Александра III. Искусственно отсекая возможность исследовать генезис этой политики, авторы лишили себя и возможности более глубоко и основательно проанализировать мотивации и логику действий имперской власти в подходе к проблемам окраин.

К числу слабейших, на наш взгляд, разделов монографии следует отнести содержащийся во Введении очерк историографии изучаемой проблемы. По сути, последний представляет собой поспешно собранный коллаж, состоящий из краткого – даже не постановочного (как можно было бы ожидать), а уже резюмирующего, подводящего итоги – изложения содержания основных разделов монографии и разрозненных историографических экскурсов

по работам, касающимся правительственной политики на отдельных окраинах Российской империи. Анализ историографии, к сожалению, страдает несистематичностью и фрагментарностью: наряду с работами, имеющими прямое отношение к изучаемой проблеме, в историографический обзор попали общие работы по социально-экономическому развитию России, финансовой политике правительства, становлению думской монархии, по истории русского законодательства, политической борьбе в стране и русскому либерализму. Анализ литературы, посвященной политике имперской власти на отдельных окраинах, дается разрозненно, без какой-либо внутренней логики и хронологической последовательности, касаясь часто больше политических, чем социально-экономических проблем. Так, о Сибири (которая, будучи «модельной» окраинной территорией, так и не удостоилась внимания авторов монографии в ее основной части) говорится в трех-четырех далеко отстоящих друг от друга фрагментах текста, которые и в смысловом отношении никак между собой не связаны. При этом авторов в гораздо большей степени занимают вопросы административного управления Сибирью, чем, например, более актуальная в свете изучаемой темы проблема крестьянских переселений. Такая же картина пестрого смешения различных сюжетов и разрозненной подачи материала наблюдается и при анализе литературы, посвященной Дальнему Востоку и Туркестану.

Фрагментированность и выборочность историографических экскурсов, на наш взгляд, не только затрудняет получение читателем полной историографической картины, но и ведет к поспешным и умозрительным выводам там, где дело касается общих оценок. Так, например, авторы монографии утверждают: «В целом до начала 1960-х годов финансово-экономическая проблематика не становилась центральной в исследованиях советских историков» (2021, с. 18). Возникает вопрос: а о чем же еще могли писать историки-марксисты и марксисты-экономисты, как не об экономике Российской империи? Как они изучали причины и предпосылки Октябрьской революции, не затрагивая сюжеты экономической политики?

Общие итоги

Подводя итог анализу работы, проделанной петербургскими историками, ее следует признать, несмотря на все отмеченные недостатки, положительной как с точки зрения введенного в научный оборот конкретно-исторического материала, так и самой нетривиальной попытки создания обобщающей картины имперской экономической политики на окраинах России конца XIX – начала XX вв. Говоря об историографической разработке любой масштабной проблемы, необходимо иметь в виду, что ее «идеальное» состояние редко достигается в единичном акте творчества, но почти всегда является накопленным итогом множества более или менее удачных приступов к



ее изучению и раскрытию. С этой точки зрения авторы монографии внесли определенную, а в некоторых отношениях существенную лепту в понимание проблем имперской политики на окраинах Российского государства.

В то же время многие выявленные нами недостатки следует отнести к произвольным следствиям масштабности замысла и трудностей согласования авторских позиций – особенно в тех случаях, когда разработка большой темы по срокам привязывается к весьма короткому периоду «отработки» грантового проекта (как это имело место в данном случае). Как правило, достижение безупречного научного результата в исторических исследованиях требует более длительного их «жизненного цикла».

Авторский вклад

К.И. Зубков – «О методологии и методах исследования»; И.В. Побережников – «Введение», «Общие итоги»; Г.Н. Шумкин – «Структурные разделы монографии: достоинства и промахи».

Список литературы

- Алексеев, В. В. (Ред.) (2000). *Опыт российских модернизаций XVIII–XX века*. Наука.
- Алексеев, В. В. (Ред.). (2004). *Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI–XX века*. Наука.
- Алексеев, В. В. (Ред.). (2011). *Цивилизационное своеобразие российских модернизаций XVIII–XX вв.: пространственно-временной аспект*. Институт истории и археологии УрО РАН.
- Витте, С. Ю. (1991). *Избранные воспоминания. 1849–1911 гг.* Мысль.
- Зубков, К. И. (2017). Модернизирующаяся империя и истоки русской революции 1917 г. *Уральский исторический вестник*, (3), 61–70.
http://uralhist.uran.ru/archive/456/459/_aview_b475
- Побережников, И. В. (2006). *Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологические проблемы модернизации*. РОССПЭН.
- Побережников, И. В. (Ред.). (2016). *Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало XX в.): региональное измерение*. Банк культурной информации.
http://www.ihist.uran.ru/files/aktori-maket_v_pechat.pdf
- Политический строй современных государств: В 2 т. Т. I. (1905). Издание князя П.Д. Долгорукова и И.И. Петрункевича при участии редакции газеты «Право».
<https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003980034>
- Ходяков, М. В. (Ред.). (2021). *Центр и регионы: экономическая политика правительства на окраинах Российской империи (1894–1917)*. Издательство Санкт-Петербургского университета.

References

- Alekseev, V. V. (Ed.) (2000). *The experience of Russian modernization of the 18th-20th century*. Nauka. (In Russian).
- Alekseev, V. V. (Ed.). (2004). *Asiatic Russia in the geopolitical and civilizational dynamics. 16th – 20th centuries*. Nauka. (In Russian).
- Alekseev, V. V. (Ed.). (2011). *The civilizational peculiarities of the Russian modernization of the 18th – 20th centuries: the space-time aspect*. Institute of History and Archeology of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. (In Russian).
- Khodyakov, M. V. (Ed.). (2021). *Center and Regions: the Economic policy of the government on the Outskirts of the Russian Empire (1894-1917)*. St. Petersburg University Press. (In Russian).
- Poberezhnikov, I. V. (2006). *Transition from traditional to industrial society: theoretical and methodological problems of modernization*. ROSSPEN. (In Russian).
- Poberezhnikov, I. V. (Ed.). (2016). *Actors of the Russian imperial modernization (18th – early 20th century): regional dimension*. Cultural Information Bank. http://www.ihist.uran.ru/files/aktori-maket_v_pechat.pdf (In Russian).
- The political system of modern states: In 2 vols. Vol. I.* (1905). Edition by the Prince P.D. Dolgorukov and I.I. Petrunkovich with the participation of the editorial office of the newspaper “Pravo”. <https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003980034> (In Russian).
- Witte, S. Y. (1991). *Selected memories. 1849-1911*. Thought. (In Russian).
- Zubkov, K. I. (2017). The Modernizing Empire and the Origins of the Russian Revolution of 1917. *Ural Historical Bulletin*, (3), 61-70. http://uralhist.uran.ru/archive/456/459/_aview_b475 (In Russian).



Features of the Religious and Everyday Worldview of a Resident of a Russian City at the Turn of the Middle Ages and Modernity: Public, Everyday, Intimate

Alexey V. Belov

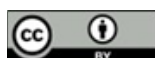
Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia
Email: belovavhist@mail.ru

Abstract

The work describes and analyzes the monograph of L.P. Naydenova “The Life of a Russian Man of the 16th-17th Centuries (Faith, Family, Everyday Affairs)”. It was published in 2020. In it, the author considers issues of the inner world of a person, his relationship with loved ones, and his place in the family. Many of the topics have been understudied. In addition, they are difficult to study, since they are associated with family relationships, and with the closed, personal life. The review was written in order to acquaint readers with the research of the author of the monograph, with the identification of peculiarities of the urban lifestyle, which are inherent in the large cities of the Russian state at the turn of the Middle Ages and early Modernity. This knowledge makes it possible to consider the question of criteria of the characteristics of the city during the Middle Ages and late Modernity. This book may be of interest to specialists in the history of the Middle Ages, medieval family and society. It will be useful to urbanists, sociologists, researchers involved in studying everyday life and mentality. The book will be useful to everyone who is interested in the worldview and everyday history of the Russian medieval city and medieval society.

Keywords

City; Middle Ages; Russian Medieval City; Worldview; Mentality; Psychology; Family; L.P. Naydenova; 16th century; 17th century



This work is licensed under a [Creative Commons “Attribution” 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Особенности религиозно-бытового мировоззрения жителя русского города на рубеже Средневековья и Нового времени: публичное, повседневное, сокровенное

Белов Алексей Викторович

Институт российской истории Российской академии наук. Москва, Россия
 Email: [belovavhist\[at\]mail.ru](mailto:belovavhist[at]mail.ru)

Аннотация

В работе дается описание и предпринимается анализ центральных положений монографии Л.П. Найденовой «Жизнь русского человека XVI – XVII веков (вера, семья, дела житейские)», опубликованной в 2020 г. В ней автор рассматривает ряд вопросов, связанных с внутренним миром человека и его отношением с окружающим миром и своими близкими. При этом многие из предлагаемых тем не только малоизучены, но по природе своей трудноуловимы для исследования, так как они относятся не только к семейной и общественной жизни, но и к закрытой, сугубо личной, интимной стороне существования человека в своей семье и в обществе. Причем в самых разных проявлениях. Рецензия преследует своей целью как знакомство с монографическим исследованием и ее автором, так и выявление ряда аспектов городского образа жизни, присущих крупным городским поселениям Российского государства на рубеже Средневековья и раннего Нового времени. Это позволяет поднять вопрос о критериях определения характера города и его городских поселений для данного исторического этапа, принципиально отличных от городов сегодняшнего времени. В этом отношении данная работа может быть интересна не только специалистам по истории развитого и позднего Средневековья, средневековой семьи и общества. Она будет полезна урбанистам, социологам, исследователям, занимающимся вопросами повседневности и мировоззрения, особенно на рубеже веков, когда проявляются черты нескольких исторических периодов с присущими им характеристиками. Кроме того книга, бесспорно, будет полезна всем, кто интересуется мировоззрением и повседневной историей русского средневекового города.

Ключевые слова

Город; Средние века; русский средневековый город; мировоззрение; менталитет; психология; семья; Л.П. Найденова; XVI в.; XVII в.



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons “Attribution” \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



И принесли они огромные свитки, где все,
содеянное мною от юности моей,
было записано, и размахивали ими,
как бы отгоняя того, кто должен был
появиться одеснуя меня.

Хождение преподобной
Федоры по мытарствам
(перевод Л. П. Найденовой)
(Найденова, 2013, сс. 231–232)

Автор: исследования и проблематика

В конце 2020 г. из печати в издательстве «Direct-Media» вышла книга Людмилы Петровны Найденовой «Жизнь русского человека XVI–XVII веков (вера, семья, дела житейские)». Автор – кандидат исторических наук, доцент Института российской истории РАН, занимается историей православной веры и церкви в России, мировоззрением (в том числе религиозным), менталитетом («людей во времени») периода позднего русского Средневековья и раннего Нового времени. Диссертация Людмилы Петровна была посвящена миру русского человека XVI в., реконструируемому по текстам «Домостроя». Всего ею написаны несколько монографий (Найденова, 2020; 2003; 2013), главы в книгах (Монашество, 2002; Произведения, 2009; Хорхин, 2002), разделы учебной литературы, статьи, в том числе изданные за рубежом (Хорихин, 2002; Чечулин, 2012). Работа во многом соприкасается с работами М.В. Корогодиной (2000, сс. 96–116; 2002, сс. 47–63; 2006) и некоторых других авторов.

Работа, о которой пойдет речь, представляет собой попытку раскрытия внутреннего мира человека, восприятия им окружающей реальности. Неизбежно главными предметами исследования выступают нормы религиозного сознания (в трактовке автора – «народной религиозности» (Найденова, 2020, с. 178)), что ни в коей мере не ограничивает круг тем, поднимаемых Л.П. Найденовой, лишь одной этой темой. Вышедшее исследование позволяет увидеть в новом ключе (а порой и переосмыслить) все основные аспекты жизни русского человека XVI–XVII в., оказавшегося на стыке масштабных исторических эпох – Средневековья и Нового времени.

В своей работе автор не ограничилась только описанием тех или иных оценок и правил, присущих изучаемому времени. Она анализирует и обстоятельства, обуславливающие их возникновение. Исследованию присуще не только, так сказать, аспектное рассмотрение реальности (пища, кров, одежда и т.д.), но и проникновение в ее причинность, выявление непреодолимых условий, обуславливающих те или иные формы мышления и существования. К их числу можно отнести пространство, климат, скудность пищи и витаминов, сезонность работ и другие.

Центральные вопросы, источники, своеобразие

Книга, увидевшая свет в 2020 г., продолжает разработку проблематики, избранной Л. П. Найденовой, и является расширенным переизданием монографии 2003 г. Сравнивая между собой обе книги, несложно заметить их значительные различия, как по ширине охвата материала, так и по большему разнообразию затрагиваемых аспектов. Так, например, к прежним десяти тематическим разделам автор добавила еще семь. В целом содержание расширилось, прежде всего, за счет вопросов, раскрывающих различные стороны мировоззрения той давно ушедшей эпохи, которые не просто мало изучены, а по природе своей трудноуловимы – тем более, если учесть степень сохранности источников, полноту и особенность текстов, а также принципиально иные реалии ушедшего исторического времени. Вот лишь несколько примеров: «Мистика и религия», «Кто такая ведьма?», «Поп и приход».

Ряд изменений и добавлений присутствуют и в других главах. Так в третьей («Границы семейных и супружеских отношений») вошли материалы, раскрывающие такие «неудобные» вопросы, как отношение к незаконнорожденным детям, условия для осуществления развода, нарушения базовых моральных запретов и отношение к ним со стороны общества. При этом последнее оценивается, в том числе, с точки зрения степени и формы наказания, что позволяет автору поднять вопрос о невозможности (или, напротив, молчаливой допустимости) подобного рода поступков в русском средневековом городском обществе, не столь толерантном, как сегодня. Автор позволяет себе выйти за грань определенных моральных установок и предубеждений, обрисовав (на основании источников) картину интимных (сексуальных) отношений жителей рассматриваемой эпохи. В этом числе: «блуд», изнасилование, внебрачная потеря девственности девушкой, «содомский грех» и другие аналогичные аспекты (Найденова, 2020, с. 109–113). Данные аспекты часто обходили стороной даже те авторы, кто приближался к ним вплотную (Вовин, 2019; Кантор, 1999; Лещенко, 1999; Рабинович, 2019, с. 128–191; Селин, 2009; Селин, 2017; Семенова, 1997; Янин, 1995, с. 120–126).

Еще одним отличием книги является очерк, с нашей точки зрения, украсивший четвертую главу, где раскрываются имущественные отношения в городской семье: в том числе вопросы наследования, степени родства, возвращения приданного и другие аспекты.

Работа написана на широком круге источников. Используются списки «Домостроя», число которых насчитывает более восемнадцати наименований, хранящихся в различных архивных собраниях страны. Автор также опирается на памятники права: княжеские уставы, данные церкви, Судебники (1497, 1550 и 1589 гг.), Псковскую судную грамоту, Номоканон, «Вопрошание кирика» и русскую средневековую учительную литературу (списки «Измарагда»,



различные «Поучения», «Наказания» и др.), источниковедческому анализу и характеристике которых посвящена отдельная глава. Для понимания исследовательской позиции важен историографический анализ, которому посвящен свой особый раздел.

Работа Л. П. Найденовой в целом дает пример как комплексного анализа сохранившегося материала, так и отказа от формалистического подхода к изучению источника (Смирнов, 1917, с. 230), расширяя его возможности.

Интерес вызывает постановка вопроса и задач исследования, данные автором. При этом она не только использует такие категории как «ментальность», «автоматизмы мысли», «повседневность», «обыденность», «модели поведения» и др., но отчасти предлагает их трактовку, объясняет их место и в системе ценностей давно ушедших времен, и в процессе изучения прошлого. Не секрет, что эти понятия широко используются как в научном изучении, так и в обыденном общении, но далеко не всегда они преподносятся с четким пониманием предмета рассмотрения.

Исследование состоит из пяти тематических глав-разделов. Первый посвящен восприятию повседневности и охватывает вопросы, как правило, самого широкого круга, в рамках которого формируются нормы мировоззрения, причем как глобальные («Среда обитания», «Вера и храм», «Жизнь после смерти» и др.), так и обыденные (особенности восприятия времени, отношение к пище и одежде, и др.). Второй раздел освещает материальную сторону жизни, зачастую сопряженную с каждодневным трудом и степенью материального благополучия (богатство и бедность, роскошь и бытовой аскетизм, труд и трудовая этика и др.). Третья глава посвящена вопросам внутрисемейных отношений: трактовка понятия «Дом» и «Семья», психология и иерархия отношений, устанавливающихся среди близких людей. Особо рассматривается вопрос воспитания детей. При этом автор опирается по преимуществу на материалы «Домостроя», выбирая и собирая этот материал в единую картину.

Одной из наиболее сильных сторон исследования выступает раздел, посвященный детальному описанию «семьи» XVI в. (Найденова, 2020, с. 114-143). При этом данная структура применительно к рассматриваемому историческому периоду отличается от традиционного его понимания. Для периода позднего Средневековья «семья» оценивается как «некое единое хозяйственное, социальное, психологическое целое, члены которого находятся в отношении господства – подчинения» (Найденова, 2020, с. 138). Автор также демонстрирует «сложные жизненные реалии» функционирования этого организма.

Ряд аспектов средневекового мировоззрения, описанного и проанализированного Л. П. Найденовой (труд, богатство, бедность, достаток, предприимчивость), выходят и за пределы очерченных ею границ. Данные аспекты представляют бесспорный интерес для оценки особенности формирования

(и, возможно, функционирования) национального мировоззрения на современном этапе.

Другой сильной стороной работы является то, что аспекты мировоззрения, изложенные в ней, одновременно покоятся на двух противоположных началах, в результате чего человеческое естество оказывается представленным в двух противоположных ипостасях. Это придает создаваемой картине интересный эффект объемного видения предмета. Перед нами проходит одновременно святость и грех; чувственность и закрытость; поведение «благочинное» и скрытное; «теплая вера» в Бога, тесно сосуществующая со страхом наказания (Найденова, 2020, с. 17-19); а также духовное знание, сопрягающееся с государственной пропагандой (Найденова, 2020, с. 28)

Большой интерес вызывают выводы автора, связанные с формированием образа города в общественном сознании того времени, а также то обстоятельство, что они не исчезли со временем, а сохраняются до сегодняшнего дня. В частности, это образ «города-сада» (Найденова, 2020, с. 10). Было бы интересно, если бы исследователь рассмотрела и другие характерные формы, также типичные для мировоззрения XVI–XVII вв., как, например, «город на горе» (Домников, 2002, с. 217) или «государев города» (Человек, 1996, с. 77).

Некоторые аспекты, выявленные автором, могут показаться второстепенными, но они прекрасно демонстрируют непохожесть и особенность своей исторической реальности. Например, это сложение народного и религиозного календарей (Найденова, 2020, с. 43); церковное «стремление отгородиться от иудаизма» (вплоть недопущения совпадения дня Пасхи) (Найденова, 2020, с. 44); наличие социального статуса, а также его близость у представителей двух категорий населения, таких как «ведьмы» и проститутки (Найденова, 2020, с. 69-70); определение норм женской красоты и их детерминированность условиями своего времени (Найденова, 2020, с. 93). Примером того, как реальность, обусловленная различными условиями ведения хозяйства, а также возможностями человека данного исторического периода, формирует представления о мерах измерения, отражаются в разделе «Человек в пространстве» (Найденова, 2020, с. 45-46). Благодаря данным оценкам исчезнувшая реальность приобретает наполнение, становится понятной, узнаваемой. Следует отметить, что, изучая константы человеческого бытия (время, пространство, жизнь и смерть) Л. П. Найденова фиксирует пусть медленные, но изменения в их восприятии.

В ряде случаев автор наглядно указывает на несовпадение современного представления об изучаемой исторической реальности и ее сущности. В частности, речь идет о проблеме совпадения (не совпадения) стремления к старине и способности воспринять новые хозяйственные формы (Найденова, 2020, с. 75). Кроме того, Людмила Петровна обращает внимание на разницу в представлениях жителей, относящихся к разным регионам страны (с. 49).



Большой интерес вызывает раздел «Стиль жизни». В рамках него излагается по преимуществу «церемониал», а также вовлеченность в повседневную жизнь скоморохов как выразителей смеховой, «народной» культуры, и поднимается вопрос об их социальном статусе (сс. 55-59), что вызывает желание увидеть анализ и иных аспектов данной проблемы.

Работа и проблема городского мировоззрения на стыке эпох

Необходимо отметить, что в связи с избранным кругом документальных и архивных материалов (среди которых доминирует «Домострой») работа освещает реалии семейного, общественного и хозяйственного строя, присущие по преимуществу городскому строю и «горожанам среднего достатка» (Колесов, 2000, с. 307). Как характеризует этот источник сам автор: «Домострой – книга городская и написанная для горожан» (Найденова, 2020, с. 7). В монографии присутствуют и другие указания на городскую природу описываемой реальности (Найденова, 2020, с. 10-12). Впрочем, со временем данное «поучение» получит распространение и среди крестьянства (Найденова, 2020, с. 14), но произойдет это в период, отстоящий от заявленных в работе хронологических рамок.

Таким образом, в первую очередь речь в книге идет о крупном городском поселении, городской образ жизни которого был бесспорен, что трудно сказать об основной массе укрепленных поселений («крепостиц» и «городков»), наполнявших просторы России того времени. Особенно на окраинах страны. Перечень наиболее значимых (в трактовке конца XIX в. – «подлинных») городов также был не столь значителен. Н. Д. Чечулин, опиравшийся на значительный круг источников («Книга Большому чертежу», ряд писцовых книг, а также аналогичных и близких им по характеру переписей) составил перечень из 218 пунктов (Чечулин, 2012, сс. 86-93). Это достаточно большая величина, но если ее оценивать, исходя из удельного веса крупных и хозяйственно активных городских поселений, имевшихся в стране в XVI столетии (причем до разорительных событий, как второй его половины, так и начала XVII в.), показатели будут не столь масштабны. Города, где число всех жителей (по полу и, что важно, по характеру деятельности) колебалось около ста тысяч человек, или же превышало его, составляет всего три наименования – Псков, Москва и Новгород Великий. Если к ним приплюсовать поселения, где проживало всего около 50 тыс. человек «обоего пола» (Серпухов, Муром, Коломна и, возможно, некоторые, но очень немногие другие), то и тогда их число вырастает весьма незначительно.

Впрочем, необходимо также признать, что вопрос о степени развитости городского образа жизни (а также его распространении и использовании как

признака характера города) для средневекового общества России требует все еще особого рассмотрения.

При этом можно утверждать, что основные, по крайней мере, моральные аспекты повседневной жизни и нормы поведения, выделенные и проанализированные в исследовании Л. П. Найденовой, бесспорно, функционировали в рамках самого широкого круга поселений как городского, так и сельского характера.

Выводы

Сегодняшнее время активно продвигает идеи социальной истории, формы которой часто заимствуются в зарубежной историографии (Вершинина, 2019; Трубина, 2011.). Исследование Людмилы Петровны, при всем внимании автора к западной историографии, глубоко почвенническое, не только по научному объекту ее исследования и кругу привлекаемых источников. Отчасти это связано с характером (а порой даже и «интимностью») используемого ей материала. Исследователь продолжает традиции положенные отечественными истоками еще первой половины прошлого века. Так, например, еще историк Б. А. Романов в своем классическом труде, давая характеристику тому «как люди жили на Руси в то время» выделял главный аспект – «и чем кто дышали» (Романов, 2002, с. 9). Аналогичные подходы мы можем найти у других отечественных историков, посвятивших свои работы исследованию «тонких материй» мировоззренческих практик (Лихачев, 1984). Работа Л. П. Найденовой является продолжением и развитием данного научного направления.

Список литературы

- Вершинина, И. А. (2019). *Современные теории города. Социологический анализ*. Канон+ РООИ «Реабилитация».
- Вовин, А. А. (2019). *Городская коммуна средневекового Пскова XIV – начала XVI в.* Издательство Европейского университета в Петербурге.
- Домников, С. Д. (2002). *Мать-земля и царь-город. Россия как традиционное общество*. Алитейя.
- Домострой*. (2000). Наука.
- Кантор, А. М. (1999). *Мир русского горожанина. Вторая половина XVII в.* Очерки. РГГУ.
- Колесов, В. В. (2000). Домострой как памятник средневековой культуры. В *Домострой* (с. 301–356).
- Корогодина, М. В. (2000). О создании памятников покаянной дисциплины в древнерусской посменной традиции. В *Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность. Выпуск 3* (с. 96–116). Дмитрий Буланин.
- Корогодина, М. В. (2002). Исповедь вельмож. В *Российское государство в XIV–XVII вв. Сборник статей, посвященный 75-летию со дня рождения Ю.Г. Алексеева* (с. 47–63). Дмитрий Буланин.
- Корогодина, М. В. (2006). *Исповедь в России в XIV–XIX вв. Исследование и тексты*. Дмитрий Буланин.
- Лещенко, В. Ю. (1999). *Семья и русское православие (XI–XIX вв.)*. Издательство Фроловой Т.



- Лихачев, Д. С., Панченко, А. М., & Понырко, Н. В. (1984). *Смех в Древней Руси*. Наука.
- Монашество и монастыри в России. XI–XX вв. Исторические очерки. (2002). Наука.
- Найденова, Л. П. (2003). *Мир русского человека XVI–XVII вв. (По Домострою и памятникам права)*. Издание Сретенского монастыря.
- Найденова, Л. П. (2013). *Христианские мотивы регулирования социального поведения в России XV–XVI веков*. ИРИ РАН.
- Найденова, Л. П. (2020). *Жизнь русского человека XVI–XVII вв. (Вера, семья, дела житейские)*. Direct-Media.
- Произведения Максима Грека. Рукопись из Славянского собрания Парижской национальной библиотеки. (2009). Москва.
- Рабинович, М. Г. (1978). *Русский средневековый город. Домашний быт, занятия, обычаи горожан*. Наука.
- Рабинович, М. Г. (2019). *Очерки этнографии русского феодального города. Горожане их общественный и домашний быт*. Наука.
- Романов, Б. А. (1966). *Люди и нравы Древней Руси*. Наука.
- Селин, А. А. (2009). *Новгородское общество начала XVIII в. Просопографическое исследование* (Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук.
- Селин А. А. (2017). *Смута на Северо-Западе в начале XVII века: Очерки из жизни новгородского общества*. БЛИЦ.
- Семенова, М. (1997). *Мы – славяне*. Азбука.
- Смирнов, П. П. (1917). *Города Московского государства в первой половине XVII века. Том I. Выпуск I*. Типография А.И. Гросмана.
- Трубина, Е. (2011). *Город в теории. Опыт осмысления пространства*. Новое литературное обозрение.
- Хорихин, В. В. (2002). *Рукописные тексты Домостроя XVI–XVIII вв. История издания и изучения*. Сигнал.
- Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени*. (1996). Издательство РГГУ.
- Чечулин Н. Д. (2012). *Города Московского государства в XVI в.* ГПИБ.
- Янин, В. Л. (1995). Историка формирования «социальной традиции» русского города (Новгород как социальная структура). В *Город как социокультурное явление исторического процесса* (с. 120–126). Наука.

References

- Chechulin N. D. (2012). *Cities of the Moscow state in the 16th century*. GPIB. (In Russian).
- Domnikov, S. D. (2002). *Mother Earth and the Tsar City. Russia as a traditional society*. Aliteya. (In Russian).
- Domostroy*. (2000). Nauka. (In Russian).
- Kantor, A. M. (1999). *The world of the Russian townsman. The second half of the 17th century*. Essays from the RSUH. (In Russian).
- Khorikhin, V. V. (2002). *Manuscript texts of the XVI–XVIII century Domostroy. History of publication and study*. Signal. (In Russian).
- Kolesov, V. V. (2000). Domostroy as a monument of medieval culture. In *Domostroy* (pp. 301–356). (In Russian).

- Korogodina, M. V. (2000). On the creation of monuments of penitential discipline in the Old Russian shift tradition. In *Essays on Source Studies. Ancient Russian books. Issue 3* (pp. 96–116). Dmitry Bulanin. (In Russian).
- Korogodina, M. V. (2002). Confessions of nobles. In *The Russian state in the 14th-17th centuries. Collection of articles dedicated to the 75th anniversary of J.G. Alekseev's birth* (pp. 47–63). Dmitry Bulanin. (In Russian).
- Korogodina, M. V. (2006). *Confession in Russia in the fourteenth and nineteenth centuries. Research and texts*. Dmitry Bulanin. (In Russian).
- Leshchenko, V. Yu. (1999). *The Family and Russian Orthodoxy (11th-19th centuries)*. Published by Frolova T. (In Russian).
- Likhachev, D. S., Panchenko, A. M., & Ponyrko, N. V. (1984). *Laughter in ancient Russia*. Nauka. (In Russian).
- Monasticism and monasteries in Russia. The 11th-20th centuries. Historical sketches*. (2002). Nauka. (In Russian).
- Naidenova, L. P. (2003). *The World of Russian Man in the 16th-17th Centuries (From Domostroy and Monuments of Law)*. Published by Sretensky Monastery. (In Russian).
- Naidenova, L. P. (2013). *Christian motives for regulating social behaviour in 15th-16th century Russia*. IRH RAS. (In Russian).
- Naidenova, L. P. (2020). *The life of a Russian man in the 16th-17th centuries (Faith, family, worldly affairs)*. Direct-Media. (In Russian).
- Rabinovitch, M. G. (1978). *Russian medieval town. Household life, occupations, customs of the townspeople*. Nauka. (In Russian).
- Rabinovitch, M. G. (2019). *Essays on the ethnography of the Russian feudal town. Townspeople in their social and domestic life*. Nauka. (In Russian).
- Romanov, B. A. (1966). *The people and mores of ancient Russia*. Nauka. (In Russian).
- Selin, A. A. (2009). *Novgorod society in the early 18th century. Prosopographical study. Doctor's thesis*. (In Russian).
- Selin, A. A. (2017). *The Troubles in the North-West at the Beginning of the 17th Century: Essays on Novgorod Society*. BLITZ. (In Russian).
- Semenova, M. (1997). *We are Slavs*. Azbuka. (In Russian).
- Smirnov, P. P. (1917). *Cities of the Moscow State in the first half of the 17th century. Volume I. Issue 1*. Print shop of A.I. Grossman. (In Russian).
- The Human Being in the Family: Essays on the History of Private Life in Europe until the Early Modern Age*. (1996). RSUH Publishing. (In Russian).
- Trubina, E. (2011). *The city in theory. The experience of making sense of space*. New Literary Review. (In Russian).
- Vershinina, I. A. (2019). *Contemporary theories of the city. A sociological analysis*. Canon+ ROOI Rehabilitation. (In Russian).
- Vovin, A. A. (2019). *City community of medieval Pskov in the 14th and early 16th centuries*. European University Press in St. Petersburg. (In Russian).
- Works of Maxim the Greek. Manuscript from the Slavonic Collection of the Bibliothèque Nationale de Paris*. (2009). Moscow. (In Russian).
- Yanin, V. L. (1995). Historians of the Formation of the "Social Tradition" of the Russian City (Novgorod as a Social Structure). In *The city as a socio-cultural phenomenon of the historical process* (pp. 120–126). Nauka. (In Russian).

Certificate of registration issued by Roskomnadzor: Эл № ФС77-61330 from 07.04.2015
Founder: Limited Liability Company Scientific Industrial Enterprise "Genesis. Frontier. Science"
Address: 24, Savushkina St. apt. 88, Astrakhan, Russia, 414056
Address of Editorial board: 85, Geologov St. apt. 2, Astrakhan, Russia, 414050
Editor-in-Chief: Doctor Habilitatus, professor Serguey N. Yakushenkov
In case you have any questions about co-operation please write an e-mail the following address:
editorialboard.jsf@jfs.today
or editorialboard.jsf@gmail.com
Phone: +7 (988) 068-63-72
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
© 2016 Journal of Frontier Studies. e-ISSN: 2500-0225

Свидетельство о регистрации выдано Роскомнадзором: Эл № ФС77-61330 от 07 апреля 2015 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Генезис.Фронтир.Наука". ИНН/ОГРН: 3019005706/1123019003678
Юр. Адрес: Российская Федерация, 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 24, кв. 88
Адрес редакции: 414050, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Геологов, д. 85, кв.2
Главный редактор: д.и.н., профессор Сергей Николаевич Якушенков
По всем вопросам сотрудничества и публикации материалов обращаться по e-mail:
editorialboard.jsf@jfs.today или editorialboard.jsf@gmail.com
Телефон: +7 (988) 068-63-72
Сетевое издание доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0
Всемирная.
© 2016 Журнал Фронтирных Исследований. e-ISSN: 2500-0225